Прот. В. В. ЛАВРСКИЙ

Мои воспоминания об архимандрите Феодоре (А. М. Бухареве)

Считаю своим нравственным долгом способствовать, сколько могу, восстановлению в истинном виде в памяти общества духовного облика моего незабвенного учителя и отца — архимандрита Феодора, в миру — Александра Матвеевича Бухарева. Берусь за это дело в исполнение его же завета, хотя и не ко мне обращенного. Незадолго уже до своей смерти покойный говорил жене своей, Анне Сергеевне: «Если после моей смерти будут хвалить меня, — ты, пожалуйста, не слушай этой лести, помни, как забывали меня — живого; но если мое дело поймут в его истинном значении, — тогда можешь порадоваться». И еще: «Если после моей смерти будут писать обо мне неправду, хотя бы в похвалу мне, — ты сейчас же восстанови истину»[1]. «Истина» и «его дело» для архимандрита Феодора всегда, до последних минут его жизни, были дороже его лица, его чести. А нравственный облик о. Феодора — особенно по сложении им с себя монашества и последовавшей затем женитьбы, — и при жизни был предметом пререканий, для многих же и предметом соблазна, и до наших дней многими перетолковывается, и не только в порицание, но даже иногда и «в похвалу» ему. Одни, считающие себя поборниками православия и церковности, на сложение о. Феодором монашества и его женитьбу смотрят как на падение и с торжеством указывают в этом прямое практическое проявление его будто бы уклонения от чистоты и простоты православия. Другие в сложении им монашества и вступлении в брак хотят видеть намеренный практический протест против монашества, и даже вообще против церковности, — против самого православия. Наперед знаю, что мои воспоминания не удовлетворят ни тех ни других; ревнители православия не перестанут смотреть на о. Феодора как на самообольщенного,

как на несчастного изменника святым обетам; люди другого лагеря тоже — едва ли поверят мне и расстанутся с своим взглядом на экс-монаха А. М. Бухарева как на протестанта-исповедника и мученика идей гуманизма и научной истины.

Но я уверен, что мое старание восстановит истинный образ моего учителя, а особенно, если бы труд мой помог кому-нибудь «понять в истинном значении дело» жизни о. Феодора, будет ему гораздо приятнее, чем ореол исповедника и мученика, когда им украшают память его по недоразумению. Вот почему, предпринимая издание моих воспоминаний об о. Феодоре, я заинтересован прежде всего тем, чтобы не подвергалась сомнению их верность действительности. В этих видах позволяю себе обратить внимание читателей на то обстоятельство, что мои личные воспоминания об о. Феодоре записываются не через 34 года или через 45 лет после того, как случилось мною описываемое, и после того, как получены были мною впечатления, составляющие содержание настоящих воспоминаний; такая отдаленность по времени изложения воспоминаний от воспоминаемых речей и событий могла бы навести на последние особый колорит, а это убавляло бы долю их достоверности. Чтобы устранить и такое подозрение в ненамеренном с моей стороны удалении от истины, я пользуюсь при изложении настоящих воспоминаний собственными моими письмами, писанными к родителям в период моей академической жизни (1854—1858). Этот материал воспоминаний буду восполнять выдержками из собственных писем о. Феодора ко мне и к некоторым другим лицам, — писем, обнимающих период времени с 1858 по 1869 г. Затем уже, в дополнение к этим самым автотентичным материалам для будущей биографии о. Феодора, буду пользоваться письмами и рассказами других лиц, стоявших в непосредственных, более или менее близких внутренне отношениях к моему учителю. Наконец, для «восстановления истины», для «выяснения в истинном его значении дела» о. Феодора я буду обращаться по местам и к напечатанным уже его сочинениям, когда в них он сам выясняет это дело и восстановляет перетолковываемую истину. Сочинения его имели такой ограниченный круг читателей, что выдержки из них очень для немногих могут оказаться повторением уже известного.

Нахожу нужным предпослать своим личным воспоминаниям об о. Феодоре то, что известно мне от него самого о приня-

тии им монашества. Автор биографической заметки[2], напечатанной в «Голосе» вскоре после кончины о. Феодора (1871 год, № 121), говорит об этом так: «Бывший архимандрит Феодор, по снятии сана Александр Матвеевич Бухарев, родился в Тверской епархии. Как один из лучших воспитанников семинарии, он был отправлен в Московскую Духовную академию. Здесь он учился с такими же отличными успехами и, окончив курс в 1846 году третьим магистром (около 24 лет от роду), оставлен при Академии бакалавром по кафедре Свящ<енного> Писания. Незадолго пред окончанием курса (8 июня того же года) он принял монашество с именем Феодора. Побуждением к "принятию монашества" были главным образом его болезненность и сосредоточенность. О браке он боялся и подумать. По собственным его словам, если пугался он чем-нибудь во сне, то это только грезами, что его или сватают, или ведут к венцу».

О крайней болезненности Александра Матвеевича при его пострижении, которая, по мнению очевидцев этого поразительного обряда, должна была служить для него побуждением принять монашество, по тому уже можно судить, что жители Троицкого Посада говорили тогда: «Ну, это уже он насмерть постригается». В 34, в 35 лет, когда я впервые увидал о. Феодора[3], он иногда уже казался стариком. «У меня были подорваны всякие жизненные основы», — говорил он сам о себе, и именно о том, приблизительно, времени, когда он принимал пострижение. Тем не менее едва ли справедливо предположение, что для студента Бухарева побуждением к отречению от мира была мысль о близости смерти и о своей непригодности для земной жизни. О<тец> Феодор после с добродушным смехом вспоминал, как другие обрекли его тогда на смерть и желанием приготовиться к смерти объясняли его пострижение. Гораздо с большей вероятностью решение его принять монашество следует объяснять его желанием «не оставаться в воинстве Христовом рядовым воином, когда ощущается самая настоятельная нужда в офицерах», и — глубоким убеждением его, что уклоняться от передовых постов на этой духовной брани непозволительно и даже преступно для сознающих себя способнее других занимать такие посты. По крайней мере, так именно о. Феодор, будучи уже инспектором Академии, по поручению ректора убеждал к принятию монашества одного из студентов, которого также имелось в виду оставить при Академии бакалавром[4]. Но не без тяжкой внутренней борьбы, не без продолжительного — предварительного — размышления, не без молитвенного подвига вступил Александр Матвеевич на путь иноческого самоотре-

чения. Привожу рассказ об этом самого о. Феодора, записанный мною почти тотчас же — в декабре 1857 года. Я писал: «Он (о. Феодор) припомнил, как сам он принял монашество, как он прежде даже и в мыслях не имел ничего подобного; как их инспектор, а потом ректор Академии Евгений * однажды, призвавши его, начал спрашивать, не знает ли он, кто бы пошел из их курса в монахи? — и перечислял: не тот ли, не тот ли? А этот Евгений очень любил о. Феодора и часто с ним беседовал по вечерам, так что нередко продерживал его "за полночь". "И каждый раз, — говорил о. Феодор, — я выносил от него удивительное успокоение и душевную пользу. Я, правда, больше все молчал да слушал, а он — все говорил; хоть и он, правду сказать, тоже не отличался даром-то слова; да, уже так, как-то Бог ему давал; так — как ручеек, и течет, и течет... бывало, слушаешь — только часы за часами летят, да думаешь про себя: ах! как бы не отпустил скоро! когда бы еще часочек!" — "Мне стало как-то горько, — продолжал о. Феодор, — что он, перечисляя других, не спрашивал обо мне, тогда как естественно уже было спросить. И я сказал: а что же это обо мне-то Вы не позаботитесь, Ваше Высокопреподобие!" — "Я только этого и ждал, — заговоришь ли ты сам", — отвечал ему Евгений. Но о. Феодор тут стал прилагать ему свои затруднения, и Евгений пробеседовал с ним в этот раз до рассвета. Только ничего не сделал; а покончили они дело тем, что Евгений наложил на него послушание: три недели (это было в Великом посте) бывать каждый день хоть у одной службы: у обедни, у утрени или у вечерни, — заниматься все это время этой мыслью и молиться словами псалма: "*Скажи ми, Господи, путь, в он же пойду!*" [6]. О. Феодор рассказывал дальше о борьбе своей в это время и — как, по истечении трех недель, он пришел к Евгению с тем же отрицательным ответом. Последнюю неделю, по заповеди Евгения, о. Феодор опять говел, продолжая, впрочем, посещать церковь также только однажды в день. Евгений сильно опечалился таким неуспехом их молитвы (он обещался молиться — в то же время — и сам); опять ночь до рассвета проведена была в беседе. Наконец Евгений сказал, что уж если Господу не угодно было открыть им иначе Свою волю, то остается прибегнуть к последнему средству, к которому — действительно — прибегали в подобных неразрешимых случаях и в древности многие святые мужи. Он повел его в свою спальную, стал перед

---

* Скончался на покое в Симбирске, после управления в течение нескольких лет Симбирскою епархиею [5].

образами, велел молиться ему и положил сам три земных поклона; потом велел ему взять книгу и предоставить решение своей участи тому, что откроется для него; но велел ему твердо веровать. Книга была русская Псалтырь; о. Феодор раскрыл ее, и его глаза упали на следующие слова псалма: “Воздавайте и совершайте обеты ваши Господу”; за этим следовало какое-то “обетование, укреплявшее надежду”». Прерываю выписку из письма, чтобы привести здесь в точности слова псалма, принятые чуткой душой о. Феодора как прямое, ясное и непререкаемое указание ему воли Божией, как прямой ответ на его вопрошение верою и молитвою. Без сомнения, это были слова псалма XLIX: «В жертву Богу принеси хвалу и соверши пред Всевышним обеты твои» (ст. 14-й[7]). Слово «воздавайте», оставшееся в памяти о. Феодора при передаче этого места псалма на память, заимствовано им из славянского текста псалма; в славянском действительно стоит: «воздаждь Всевышнему», но не обеты, а «молитвы твоя». Господь пощадил и без того изнемогшего раба своего от возможности дальнейших еще сомнений и колебаний: случилось, как говорим мы обыкновенно, — т. е., помимо наших намерений и расчетов, Господь устроил так, что Псалтырь взята была не на славянском языке, а в русском переводе с подлинника, где ясно говорится не о молитве вообще, а об обете и жертве. Дальнейшие слова псалма действительно составляют ободрение души, измученной сомнениями и изнемогшей от трехнедельного духовного подвига. «Призови Мя в день скорби твоея, и изму тя, и прославиши Мя» (ст. 15). Весь псалом говорит о том, что Господь не довольствуется привычными выражениями богопочтения и богоугождения, а требует большего «от святых своих, вступивших с Ним в завет при жертве»[8]. Нет сомнения, что Александр Матвеевич, прежде чем решился прославить Господа, «совершивши пред Ним» иноческие «обеты» свои, не раз читал и перечитывал этот псалом, со всегдашнею своею думчивостию, углублением мысли в каждое слово Писания и с широким соображением общего смысла Откровения в данном месте: образчик такого углубления в смысл Божественного Откровения оставил нам о. Феодор в своих изъяснениях Псалмов пророческих и Послания к Римлянам. Продолжаю выписку из письма: «Таким образом, решение было сделано. Но все еще не без стеснения сердца сходил о. Феодор по лестнице от инспектора» (т. е. Александр Матвеевич — от архимандрита Евгения). «Вдруг, — продолжал о. инспектор (инспектором здесь, в письме, называется уже о. Феодор, а не Евгений), — как будто бы мне кто шепнул на ухо эти слова: “Не

Богу ли повинется душа моя?" (Пс. LXI, 2), и мне в то же время на душе стало так легко, что даже как будто бы вдруг пропала и телесная немощь, которая — помню — в то время жестоко мучила меня. Был у меня один товарищ, который особенно любил меня, так что во многих случаях заменял мне как бы брата; а иногда даже и просто был как мать (теперь уже он умер; а был он профессором во Владимире)[9]; так я видел, что это его глубоко огорчало, так что он даже плакал; потому что он видел, что тут я был действительно в страшной опасности — как бы не попасть в это ложное-то направление*; хотя я это и скрывал от него, но уж он после-то мне говорил, что чувствовало его сердце, хоть он еще этого и не знал. Написал я к батюшке и к матушке; матушка мне отвечала, что она уже отдала меня раз Божией Матери; так пусть Она, что Сама знает, то со мной и делает. И когда меня постригали, тут сошлось все вместе: и экзамен-то, и курсовое-то сочинение, да и обыкновенная моя болезненность; так это все до такой степени меня изнурило, что — которые пришли тут посмотреть на мое пострижение — так говорили: "Ну, уж это он, знать, насмерть постригается"».

Итак, болезненность и сознание своей непригодности для земной жизни не могут считаться решающими дело побуждения в избрании о. Феодором жребия отречения от мира. А с другой стороны, совершенно чужды были студенту Бухареву житейские расчеты и мечты честолюбия при вступлении в ряды ученого монашества, составляющего у нас прямой и исключительный путь к высшим степеням духовной иерархии. И — так как Самому Господу «повинулася душа» архимандрита Феодора, когда он совершал великий, решительный шаг своей жизни, то Сам Господь указал ему путь необычный, путь, которым он шествовал до конца... но, всего лучше, вот собственные слова о. Феодора о том, с какими мыслями и расположениями встал он на этот путь — принятием монашества: «Я пошел в монаше-

---

* О. Феодор говорил о хорошо известном уже его слушателю из других его бесед направлении набожности вообще и монашества в частности, когда началом нравственной жизни ставится слово пророка: «*Кийждо спасая да спасет свою душу*» (Иер. LI, 6; ср.: Быт. XIX, 17), т. е. «спасайся сам, кто как может, не думая уже об общем спасении», как на горящем и тонущем корабле; причем проповедующие это начало одиночного спасения забывают, что ведь пророк говорит о гибели Вавилона, они же находятся в корабле Церкви Христовой, а не в Вавилоне или в обреченном на огненную погибель Содоме.

ство, — писал он ко мне 25 сентября 1862 г., — чтобы сердцем принадлежать одному Господу (обет девства), управляться одним Господом (обет послушания), да и пользоваться только Господним (обет нестяжательности)». И еще сильнее выражался он в другом письме, «говоря о настроении» своем, о своих стремлениях и внутренних затруднениях того времени, «когда сряжался идти в монашество». «Что же, — говорил он, — ужели склавши ручки смотреть, как — нещадно, словно от поджогов, — горит дело у благочестиво мыслящих и у занимающихся земным?.. надо идти к самому средоточию общей — пожалуй — опасности» (Письмо к А. А. Лебедеву, протоиерею Казанского собора в С.-Петерб<урге>, 8 июля 1862 г.). «Я вступил в монашество», как на путь «небезопасный, но в... духе и с словом: ей! — Богу содействующему» (к нему же письмо 29 авг. 1862 г.).

Как же началось, как постепенно сложилось и развилось в молодом Бухареве его богословское мировоззрение — столь своеобразное, что в богословской литературе он не имеет ни предшественников, ни преемников и продолжателей *, и столь властительное, что оно влечет молодого студента против воли его в суровый подвиг монашества, а потом зовет обратно в мир, и уже не юного, способного к увлечениям, а мужа, в летах духов-

---

* Если о. Феодора можно признать чьим-либо продолжателем в богословствовании, то разве только Филарета, митрополита Московского. Это преемство духа особенно заметно, если сопоставить «Записки на Кн. Бытия» м. Филарета[10] и монографию о. Феодора «О миротворении» — тоже записки на первые две главы Кн. Бытия. Святитель Московский, с какой-то свойственной ему ревнивой малообщительностью мысли, всегда заботился не столько о возможно широком распространении истин православия, сколько о строгой отчетливости их выражения, особенно же в печатном слове. Так и в своих «Записках на Кн. Бытия» он очень часто ставит только вопрос, а вместо ответа на него замечает лишь, что нет особенной надобности искать и домогаться этого ответа. О. Феодор в книге «О миротворении» очень часто берет этот оставленный без ответа вопрос и, объяснив надобность в ответе и важность его, продолжает прерванное его учителем богословствование в том же точно духе и направлении и на поставленный митроп. Филаретом вопрос представляет решение. В раскрытии духовно-таинственного смысла Писания о. Феодор является учеником прежде всего Ап. Павла, но тоже по руководству и примеру митроп. Филарета в его «Записках на Кн. Бытия». Вообще, в сочинениях о. Феодора повсюду видны следы глубокого изучения им творений митрополита Филарета, из которых он иногда берет текст и комментирует его, развивая собственные свои воззрения. См., например, «О православии в отношении к современности», с. 4, 24, 57, 264, 289.

ной зрелости, а по телу — человека, стоявшего одной ногой в могиле. Документами для начертания истории духовного развития студента Бухарева и образования у него совершенно самостоятельного, одиноко стоящего миросозерцания могли бы послужить семинарские и студенческие в Академии «рассуждения» и проповеди его, но едва ли это теперь возможно; хотя по семинариям и был прежде обычай, сохранившийся и до 50-х годов, — лучшие сочинения лучших воспитанников последнего богословского класса переписывать, переплетать в одну книгу и сдавать в фундаментальную семинарскую библиотеку на хранение. Хорошо было бы навести справки в библиотеках Тверской семинарии и Московской академии, не сохранились ли там богословские сочинения студента А. Бухарева, и уже наверное хранится курсовое сочинение иеромонаха Феодора, сданное Конференциею Академии, по представлении к утверждению его в степени магистра*.

По вопросу о том, как развивалась и крепла мысль о. Феодора, под влиянием каких возбуждений отвне усвояла она и перерабатывала, построяя в строгую и своеобразную богословскую систему содержание научных и литературных произведений того времени, укажу одно место из собственных сочинений о. Феодора. Здесь он говорит о себе в третьем лице, как бы о ком-то другом; но я знаю из личных его бесед со мной, что это относится к нему самому и именно ко времени его студенчества в Московской академии. Он пишет: «Мне лично известен один человек, который чрезвычайную пользу, относящуюся именно к богословскому его образованию, получал от светского писателя. Когда во мне, говорил этот человек, только что возбуждалась самостоятельная мысль, я любил читать в “Отечественных записках” статьи, относящиеся к критике, писанные покойным Белинским. Само собой разумеется, что настоящего значения его мыслей я не понимал, или — лучше — понимал их по-своему. Известно, что он иногда в развитие своих мыслей цитовал тексты из Свящ. Писания. Он давал этим текстам свою мысль, а я понимал их в надлежащем значении и соответственно этому понимал всю его речь. И потому выходило, что, следя систему его мыслей, извращавшую Христову истину, я в своем уме развивал живую систему самой Христовой истины. И сколько — помню — радости было у меня, что вот наконец взялись

---

* По наведенным справкам в библиотеке Московской академии никаких рукописных сочинений А. М. Бухарева не имеется (*Примеч. ред.*).

люди за ум — углубляться в премудрость Божию и раскрывать ее свет для всяких дел! Я обманывался; но благодаря именно такому чтению Белинского мысль моя довольно развилась и окрепла в светлом, живом и отчетливом направлении Веры. Добрые следствия этого для меня вышли самые неоцененные. С одной стороны, я уже никак не останавливался на одной букве текстов, изучаемых в богословских науках; ум мой, верный направлению Веры, всегда стремился входить в самую силу догматов, и Святые отцы для меня были авторитетами живой, обнимающей, в высших своих представителях, все современное им образование, мысли Веры. С другой стороны, когда случалось слышать и изучать ту или другую науку по началам новейшей философии, ум мой всегда работал на возведение этой науки и начал ее к истине Христовой, как это было у меня (только не так сознательно) и при чтении Белинского, мысль моя так настроилась, что безотчетно не поддавалась в науке никому и ничему, обращая все в разумное по вере служение Христу (Рим. XII, 1). Так-то говорит нередко этот близкий ко мне человек, — заключает о. Феодор, употребляя известный оборот евангельской речи (Иоан. XXI, 24; XIX, 35), — и знаю, что он говорит совершенную правду» (Три письма к Гоголю. Предисловие к читателю, с. 6 и 7)[11]. Очень мало известно мне, можно сказать почти ничего не известно, об академической жизни о. Феодора. Бывший в Академии его «старшим» (так назывался студент старшего курса, в ведении которого находились другие студенты, жившие в одной с ним комнате, или «номере»), — итак, его «старший», Семен Ив<анович> Протопопов, в монашестве Серафим, скончавшийся в 1891 г. епископом Самарским, говорил после одному из своих близких, что А. М. Бухарев «отличался в Академии кротостию и благочестием». Может быть, это было воспоминанием о той «аттестации», какую давал старший студентам своего номера в ежемесячных «ведомостях о характере и поведении», представлявшихся старшими инспектору Академии. А вот отзыв об Александре Матвеевиче — студенте Академии — человека совсем иного духа и направления — Гилярова-Платонова, у которого уже А. М. Бухарев был «старшим». Этот своего рода bête noir* духовной среды, его воспитавшей и выпустившей на поле публицистики, пишет: «Вот он, — Александр Матвеевич, некогда 20-летний юноша, вежливо, почти с заискивающим видом подходивший к нам вечерами поочередно с предложением читать молитвы на

* отверженный (*фр.*).

сон грядущим. Он в Академии был старшим в нашем номере. Душа набожная, пылкое сердце, живой ум» («Из пережитого», т. II, с. 289)[12].

Но благочестие, проявлявшееся набожностью, кротость, соединенная с крайней деликатностью в обращении, и живой ум, и пылкое сердце могли ничем не выдавать той внутренней работы ума и сердца, какая совершилась в молодом студенте, по образу жизни и поведения — одном из первых кандидатов на пострижение. Чтобы сколько-нибудь осветить эту жизнь, «радости» которой состояли в том, «что вот наконец люди начинают углубляться в премудрость Божью и раскрывать ее свет для всяких дел», в которой важнейшие решения подготовлялись постом и молитвою и принимались по жребию как бы непосредственно от руки Божией, посмотрим на спутников Александра Матвеевича в этой жизни, особенно же на тех, которые были близки к нему по духу. Дороже всего были бы сведения о том товарище и друге Александра Матвеевича, который был к нему ближе всех, — о Михаиле Васильевиче Тихонравове, скончавшемся в 1850 г. на должности профессора Владимирской Духовной семинарии*. Но и об нем слишком мало известно нам, и навсегда осталось тайной, как влияли один на другого эти две родственные натуры, сходившиеся и в своем направлении. Знаем мы о крайней чувствительности Михаила Васильевича; например, что он, будучи уже профессором Семинарии, не мог иногда удержаться от слез при исполнении церковных песнопений, особенно же лаврской песни: «Преславная днесь...» В Академии он был одним из лучших студентов; товарищи любили и уважали его; А. В. Горский, под руководством которого он писал свое курсовое сочинение, не иначе обращался к молодому студенту, как — «Михаил Васильевич». В отношениях к Александру Матвеевичу Михаил Васильевич был как бы старшим братом, попечителем и руководителем в делах житейских, который был так необходим Александру Матвеевичу, и до смерти оставшемуся младенцем во всем, что касалось жизни практической. «Самая нежная мать не могла бы так заботиться обо мне, — говорил после о. Феодор, — как заботился Михаил Васильевич». Михаил Васильевич был, как видно, практичнее Александра Матвеевича, и ему, конечно, не раз приходилось предостерегать «пылкого сердцем» товарища и друга от реше-

---

* Симпатичная статья о нем во «Влад<имирских> еп<архиальных> вед<омостях>» 1890 г., № 16, и заметка в «Истории Владим<ирской> Дух<овной> сем<инарии>» Малицкого (ч. II, с. 250–268), где о нем воспоминается как о превосходном наставнике[13].

ний, подсказываемых ему его крайним идеализмом. Видя болезненность Александра Матвеевича, Михаил Васильевич был и против видимой для всех наклонности Александра Матвеевича к вступлению на путь усиленных аскетических подвигов принятием монашества и очень скорбел, предвидя, что не удержать ему друга своего от этого решения своими убеждениями. В письмах к своему зятю-священнику Михаил Васильевич очень часто просил молиться пред престолом Божиим за Александра Матвеевича. О<тец> Феодор говорил после, что Михаил Васильевич имел влияние на всю его жизнь. Не ему ли, — не его дружеским беседам и спорам в тот период жизни, когда у студента А. М. Бухарева слагалось его богословское миросозерцание, приписывал после о. Феодор то, что он с принятием монашества не ушел в область отвлеченного идеализма, а остался борцом за спасение Христом всего истинно человеческого. Зная, как не сочувствует Михаил Васильевич его намерению принять монашество, Александр Матвеевич вел это дело втайне от своего друга. Однажды Михаил Васильевич показывает Александру Матвеевичу свою подушку, еще мокрую от слез, и говорит: «Это я об тебе плакал; мне снилось, что ты живой ложишься в могилу». Вот что значат, без сомнения, слова о. Феодора о М. В. Тихонравове: «У нас с покойным Михаилом было такое дело: я твердо отстаивал благодатное, Христово; а он страдальчески или с самоотвержением любви отстаивал во Христе и обыкновенное, земное; таким образом, мы, сами того не зная отчетливо, учились уже проводить Христову благодать и истину и в земное, никак не изменяя чему-либо истинно Христову» (Письмо Анны Серг<еевны> Бухар<евой>, 11 апр. 1872).

А вот рассказ о. Феодора и о другом его товарище, который тоже, как видно из самого этого рассказа, был особенно близок к Александру Матвеевичу как его земляк и товарищ не по Академии только, а еще и по Семинарии. Это был Вас. Фед. Владиславлев, впоследствии Тверской кафедральный протоиерей, известный в нашей духовной литературе своими поучениями по изъяснению богослужения и учебниками по Закону Божию для средних учебных заведений. «То в нем особенно было хорошо, — говорил о нем о. Феодор, — что хотя он был искренно благочестив, но благочестие его не имело в себе ничего сурового, ригористического. Будучи сам вовсе не охотник до разных веселостей и шумных удовольствий, он, однако ж, никогда не отказывался доставить удовольствие другим, приняв участие в их веселости и безотговорочно являлся в веселый кружок с своей скрипкой; так что, — прибавил о. Феодор с добродушным сме-

хом, — за эту его любящую снисходительную сговорчивость в Академии утвердилось за ним прозвище “папаши”». Буду продолжать рассказ подлинными словами моего письма к домашним, писанного в мае 1857 года, в котором рассказ этот записан под живым впечатлением, только что выслушанный мной от о. Феодора. «Не было в нем нисколько этого ригоризма, — говорил о. Феодор (которого, сказать мимоходом, так не любит о. Феодор, потому что он так часто соединяется с иудейским самооправданием); но дай Бог, — продолжал он, — и взрослым-то, и совершенным так успевать в вере, как успевал он». Как пример того и одну из черт жизни Вас. Фед., о. Феодор сказал мне, что однажды ему было явление Божией Матери. При этом он из Нового Завета вынул бумажку и дал мне прочитать собственноручное описание Вас. Фед. того, как последовало это явление. Были особенные обстоятельства в его жизни, воспитавшие его веру, но «поводом к этому обстоятельству был, можно сказать, совершенно пустой случай — неудача месячного сочинения»; так писал Вас. Фед., а о. Феодор дополнил и пояснил своим рассказом остальное. Однажды, еще на первом году, Вас. Фед., ходя по комнате с своим старшим, — С. И. Протопоповым (что ныне о. Серафим *), разговорился о месячном своем сочинении; Семен Ив., выслушав его план и мысли, высказал ему дружески свое опасение, что дело его ненадежно, и советовал ему подумать получше; несколько возражений Сем. Ив. окончательно сбили Вас. Фед. с толка. Василий Фед. не любил заниматься шутя; такая неудача его добросовестного труда глубоко огорчила его, и он прибег с молитвой к Божией Матери, к Которой он имел большую веру. Это было за всенощной; а всенощную в то время в Московской академии пели, как и доселе (1857 г.) поют, в зале; в то время, когда дьякон возглашал: «И о сподобитися нам слышания Св. Евангелия» и когда Вас. Фед. поклонился в землю (он в это время всегда делал земной поклон), — в это самое время ему явилась Царица Небесная в короне из драгоценных камней и взглянула на него так милостиво, что он был вне себя от этого взгляда. Александр Матвеевич, который стоял подле него, заметил, что с Вас. Фед. что-то произошло необыкновенное, и при выходе из зала спросил: что с ним такое? Но Вас. Фед. ответил только, что скажет после. На другой день за обедней о. Феодор опять видел, что Вас. Фед. всю обедню был в сильном душевном возбуждении и внутренне

---

* Тогда из инспекторов Казанской акад<емии>, ректор Симб<ирской> семин<арии> (см. выше с. 508 <наст. изд., с. 147>).

всю обедню плакал, хотя так, что другие, не обращавшие на него большого внимания, и не могли этого заметить. Еще тогда же, после всенощной, о. Феодор пристал к Вас. Фед. с расспросами, не получил ли он какого-нибудь горестного известия; но тот отвечал ему, что совершенно напротив — горестного ничего нет, и сказал, что вчера только душа его поняла это чувство, в котором Псалмопевец и звезды, и снег, и бурю, и землю, и все твари призывал к хвалению Господа[14]. Наконец, после обедни на другой день он рассказал ему свое видение, а о. Феодор попросил записать ему это на бумаге; эту самую записку я и читал у о. Феодора. О. Феодор прибавил, что «в ту пору лицо Вас. Федор. было как будто лицо ангела, так что даже одно воспоминание об его взгляде в ту минуту долго оставляло удовольствие в сердце; и долго после того, дня три, в его взгляде было что-то удивительно прекрасное».

Не забудем, что Бухарев, Тихонравов, Владиславлев были из числа выдающихся своими способностями студентов Московской академии в те годы, когда им «случалось слушать или изучать ту или другую науку по началам новейшей философии» *; а новейшей философией в то время было гегелианство. До духовных академий тогда еще не доходили пока скептические голоса представителей еще более новой философии, начавших уже тогда рушить грандиозное здание Гегелевой системы[15]; разве-разве слышался по временам сдержанный ропот почтительных учеников Гегеля на своего учителя, зачем он, взошедши на вершину горы, так увлекся созерцанием Божественного света всеобъемлющей истины, что не хочет уже спуститься в земную низменность, чтобы и ее осветить светом своей системы. (Слова о. Феодора о гегелианстве в Германии.) Итак, в Московской академии, несмотря на то что зоркий глаз митрополита Филарета, проникавший всюду, особенно следил за своей Академией, целые науки преподавались по началам Гегелевой философии. Эти-то начала и построенные на них системы и приходилось о. Феодору в свои студенческие годы переводить на «иное основание» и извращавший христианство пантеизм Гегеля обратно приводить ко Христу. Очевидно, это было продолжением той же умственной работы, которая возбуждена была чтением гегелианца Белинского. После, давая мне наставление, как слушать науки академического курса, о. Феодор мне говорил: «Когда я слушал науки, я все, как-то по инстинкту, прилагал ко Христу; ну, и пока еще слушаешь, так это все неяс-

* См. выше, с. 507–508 <наст. изд., с. 147>.

но — темно; а как уж всю-то науку узнаешь, так тут и увидишь, что нужно принять, что откинуть, так она и перейдет вся на это иное-то основание — на Христа» (мои студенческие письма домой).

Конечно, я не думаю утверждать, будто в духовных академиях того времени практические богословы, переводившие идеи Гегеля на начала Евангелия, студенты-молитвенники, возвышавшиеся верою до видений, были знамениями своего времени, а не составляли редкое исключение в общей массе студенчества; но самая возможность таких исключительных явлений уже что-нибудь да значит; надеюсь, многие согласятся с тем, что именно высшие стороны жизни и напряженнейшие ее моменты дают надлежащее понятие о строе и направлении того или другого времени, той или другой среды, а не то, как люди пьют и едят, добывают себе хлеб насущный и играют в карты. Мне кажется, что между направлением всего интеллигентного русского общества, образовавшимся под влиянием Грановского, Станкевича, Белинского, Н. Надеждина, Полевого, и направлением студенчества в духовных академиях 40-х годов, — и Московской академии по преимуществу, — есть органическая связь. Общий и светской, и духовной интеллигенции того времени колорит энтузиазма, энергии, идеалистического отношения к жизни, мне кажется, едва ли может быть объяснен влиянием одной литературы того времени, влиянием сочинений Белинского и других популяризаторов Гегеля; причину, мне кажется, нужно искать в непосредственном влиянии на молодые умы идей трансцендентальной философии. В Московской Духовной академии эти идеи, как оказывается, давали плод, весьма непохожий на действие тех же идей в среде почитателей Грановского или Станкевича. Значительно более трезвое, гораздо более самостоятельное отношение московских студентов Академии к гегелианству неудивительно, если припомним продолжительное влияние на аудиторию Московской академии такого философа, как Феодор Александрович Голубинский, пользовавшийся беспредельным уважением студентов — своих слушателей. В сочинениях о. Феодора мы имеем образчик глубоко философского и в то же время строго православного, следовательно, совершенно самостоятельного отношения к положениям гегелианства; это в книге «О православии», в статье о дванадесятых праздниках, с. 42–45. С полной уверенностью можно утверждать, что тирада эта относится не к другому кому, как к Ф. А. Голубинскому[16]. Что его философские лекции не были шаблонной передачей схоластических трактатов на казенной

программе философии, ручательством служит хотя бы то, что он даже при своих классных занятиях по изучению немецкого языка с студентами брал не хрестоматию какую-нибудь, а читал с ними и комментировал им гетевского «Фауста».

Статья «Голоса» об архимандрите Феодоре написана одним из студентов — слушателей его в Московской академии, впоследствии протоиереем Казанского собора в С.-Петербурге, — Александром Алексеевичем Лебедевым; потому слова статьи об о. Феодоре как профессоре имеют значение показания свидетеля-очевидца — достоинство личных воспоминаний о профессорстве о. Феодора в Московской академии; вот эти воспоминания.

«Как профессор, он с особенной энергией занимался своим предметом; чтение его отличалось таким горячим сочувствием к излагаемым мыслям, что на лице его появлялся румянец, глаза оживлялись необыкновенным блеском, а голос звучал внутреннею силою воодушевления, почему он пользовался уважением и сочувствием слушателей-студентов. Метод его лекций был довольно оригинальный: при изложении содержания какой-нибудь священной книги — он преподавал Свящ. Писание — о. Феодор старался выразить сущность воззрения и личные особенности каждого священного писателя, как это можно видеть из напечатанных его лекций. В книге, например, "Несколько статей об Ап. Павле" он изобразил, как Ап. Павел содействовал отрешению христианства от обрядности ветхозаветной и как научал устроять современную ему жизнь по духу учения Христова. За все время пребывания его в Московской Духовной академии о. Феодором довольно помещено было статей по изъяснению Свящ. Писания в журнале, под названием: "Прибавления к творениям Св. отцев, издававшимся при Московской Духовной академии"». Доселе слова А. А. Лебедева. Дополню сказанное личными моими воспоминаниями об о. Феодоре как о профессоре Казанской уже академии. В Московской академии о. Феодор профессорствовал около 8 лет; не в течение одного или двух курсов, без сомнения, явились такие обширные монографии о различных книгах Свящ. Писания и Ветхого и Нового Завета, как изъяснение, стих за стихом, Послания Ап. Павла к Римлянам, первых глав Кн. Бытия — «О миротворении», пророческих псалмов и Апокалипсиса, а также общие обозрения книг Свящ. Писания, служащие введениями к подробному объяснению текста их. Все это, без сомнения, были лекции, читанные о. Феодором студентам Московской академии в период времени за 1846—1854 гг., следовательно, четы-

рех младших и четырех старших курсов. Такие исагогические[17] лекции о. Феодора напечатаны: Введение к чтению Пятикнижия Моисеева в книге «О православии в отношении к современности» — статьи: «Об особенностях воззрения и жизни ветхозаветного человека» и «О законодательстве Моисеевом». Введения к чтению книг пророков Исайи, Иеремии, Иезекииля и Даниила напечатаны особыми монографиями. Едва ли были лекциями — по крайней мере, в таком виде, в каком напечатаны, — две монографии: «Печаль и радость по слову Божию» — тоже исагогического содержания исследования о книге «Плач пр. Иеремии» и о книге «Песнь Песней», — равно как написанное по поводу исследования Шаврова о третьей книге Ездры[18] самостоятельное «Исследование о третьей книге Ездры и Апокалипсисе».

Несмотря на соединение в этих монографиях трактатов о совершенно различных книгах Писания, в содержание этих монографий могли войти и исагогические лекции, читанные о. Феодором в Московской академии. Введение к изъяснению всех книг Писания Нового Завета напечатано под заглавием: «О Новом Завете Господа нашего Иисуса Христа». Введение в исследование отдельных Евангелий еще не напечатано; а монография, составляющая извлечение из этого труда, под заглавием «О Евангелиях и евангельской истории», к величайшему сожалению, осталась трудом и незаконченным; говорю: к величайшему сожалению, потому что в том направлении, в каком начата эта работа, по кончине о. Феодора продолжить никто другой не может. Введение к исследованию Соборных посланий напечатано особой монографией, а введение в изъяснение посланий Св. Ап. Павла напечатано под скромным названием «Несколько статей о Св. Ап. Павле» и, как синтетическое изложение содержания всех посланий Ап. Павла, есть одно из драгоценнейших наследий, оставленных нам о. Феодором. Если прибавить еще исследование «О Книге Иова» и трактаты «Об искушении Господа нашего Иисуса Христа» и «Учение Ап. Павла об антихристе во 2-м послании к Солунянам»[19], то это и будет, кажется, все из напечатанного, на что можно смотреть как на академические лекции о. Феодора *.

А если к этому прибавить черновые записи и тетради, переписанные с собственноручными поправками о. Феодора, — спи-

---

* На черновой рукописи «О Новом Завете Господа нашего И<исуса> Христа» есть заметка рукою о. Феодора: «последняя лекция 8 дек. 1850 г.».

сок его трудов по изъяснению Свящ. Писания за время профессорства его в Московской академии еще значительно пополнится. Чтения о Пятокнижии представляет очерк Свящ. Истории Ветхого Завета с разделением на отделы: а) Церковь первобытная, б) Церковь патриархальная, в) Церковь от Авраама до Моисея. Отрывки из чтений о книге Иисуса Навина. О книгах пророков Исайи, Осии, Иоиля. Трактат о неканонических книгах Свящ. Писания. Из книг новозаветных, кроме исследования об Апокалипсисе, которому доселе не судил еще Господь сделаться достоянием нашей печатной богословской литературы, в рукописи же хранится переписанное уже исследование о Послании к Филиппийцам. Такая масса написанного о. Феодором в Московской академии по предмету его кафедры давала ему возможность, особенно под конец его профессорства в Москве, предлагать студентам готовые лекции в течение всего двухлетнего курса. По перемещении в Казанскую академию о. Феодор оторван был от своего предмета, и ему разновременно и последовательно поручаемо было чтение различных богословских систем: он должен был читать и основное богословие (так называется философско-историческое введение в науки собственно-богословские), богословие догматическое, нравственное, полемическое, т. е. опровержение, как тогда говорилось, или критическое обозрение, как сказали бы ныне, неправославных и даже нехристианских учений веры; ему поручалось руководство к ведению борьбы даже с расколом старообрядства. Казанская академия, незадолго до перемещения в нее о. Феодора, обращена была в какой-то своего рода миссионерский институт[20]. Наконец, на о. Феодора возложено было чтение и пастырского богословия. И эта громада самого разнообразного богословского труда пала на болезненного, «сосредоточенного в себе», как говорит А. А. Лебедев в статье «Голоса», архимандрита Феодора. Дать сразу готовые лекции по всем этим богословским системам было немыслимо. И в Казани о. Феодор, можно сказать, вовсе не читал лекций*; он их всегда импровизировал. Но к этому времени учение Христово сложилось уже у о. Феодора в такую полную и стройную систему, что, о чем бы ему ни приходилось говорить, он никогда не затруднялся тем, что́ сказать о данном предмете, а разве только тем, как выра-

* Осталось только начало лекций по основному богословию (не напечатанное) да записанное самим о. Феодором уже во время его службы в С.-Петербургском цензурном комитете и напечатанное в книге «О православии», содержание его бесед с студентами по пастырской противораскольнической педагогике (напечатано там же).

зить свою мысль яснее и рельефнее. Он не имел замечательного импровизаторского таланта Иоанна, еп<ископа> Смоленского (известного более под именем «архимандрита Иоанна», при о. Феодоре бывшего ректором Казанской академии); архим. Иоанн говорил так, что записанное за ним можно было бы прямо сдавать в набор *. О. Феодор не имел ни счастливого органа речи, ни блестящей дикции; он не читал, а именно говорил свои лекции, нисколько и не стараясь подделывать свою живую речь под книжный язык. Но его речь, прерывистая, иногда с продолжительными паузами, во время которых видно было, как он мучился, стараясь найти выражение, равное стоявшей пред его мысленным взором истине; голос у него был надорванный, скрипучий, срывавшийся; и все же его речь была речью человека вдохновенного. Затрудненное дыхание, перерывы голоса, необычайный блеск взора, невозможность для него оставаться в это время самому в покое (он никогда не садился в аудитории) — все это делало совершенно одинаковыми и его официальные лекции, и его домашние беседы с студентами, когда он неровно ходил с своим слушателем у себя по залу, то ускоряя шаг, то останавливаясь: иногда он при этом нервно мял руку студента, держа ее в своей руке, или теребил пуговицу, лацкан сюртука своего слушателя. И по предмету эти домашние беседы профессора богословия с своими слушателями очень мало отличались от лекций в аудитории: о чем бы ни говорил о. Феодор, он ни на что не смотрел иначе как на истину Христову, ни о чем иначе и не говорил, как о Христовой истине. Говорил ли он о современных событиях жизни общественной, об исторических деятелях науки и жизни, о новом литературном произведении, о только что рассказанном ему происшествии в городе — событии в жизни его казанских знакомых, он говорил точно так же, как говорил и в аудитории *по поводу* ** того или другого трактата в учебнике догматического, или нравственного, или пастырского богословия. И при этом видно было то же самое созерцательно-вдохновенное состояние, то же напряженное внимание профессора — выследить по глазам, по

---

* Архимандрит Иоанн говорил свои лекции по догматическому богословию в Казанской академии, не отводя глаз от книги, которую держал перед собой, и — кто не знал, что это была за книга, тот подумал бы, что он по ней читает, тогда как это была догматика митр. Макария [21].

** Этим выражением лучше всего, кажется, можно охарактеризовать отношение о. Феодора к официальной стороне академической богословской науки.

выражению лица слушателя или слушателей, понятны ли им слова его. Он не был, как это часто бывает, профессором только в аудитории, а по выходе из нее — совсем другим человеком; он был учителем — проповедником истины Христовой всегда, везде и во всем.

Но выдавались в жизни о. Феодора тяжкие дни и часы нравственного изнеможения и упадка сил; когда нападало на него такое состояние духа, он уже не мог говорить ничего. По большей части это случалось, когда его сердце болезненно поражалось каким-нибудь ударом, нанесенным дорогому для него делу Христовой истины и правды. Обыкновенно он перетерпливал это чувство мучительной нравственной боли лежа в постели, как совсем больной; тогда не только говорить, ничем не мог он и заняться. Иногда в такое время он выезжал в какой-нибудь из знакомых домов, где любили его слушать; после первых приветствий молча садился и, не сказав во весь вечер ни слова, так и уезжал. Но случалось, что из сказанного при нем другими что-нибудь возбуждало его настолько, что он забывал свою боль и язык его разрешался; этим разрешался и припадок болезненного уныния. Приходилось ему иногда в такие времена духовного изнеможения являться и в аудиторию; тогда он приходил ненадолго, минут на 40 или на полчаса; речь его еще более, чем обыкновенно, была затруднена тем усилием, какое он должен был употреблять, чтобы отвлечь свою мысль от ощущения гнетущей душу моральной тягости; и так продолжалось до конца лекции, если только не случалось и здесь, что предмет лекции и его болезненное настроение находили точку соприкосновения, а в таком счастливом случае совершался как бы кризис болезненного душевного состояния профессора: речь прерывалась стремительным потоком, и преемнику о. Феодора по аудитории довольно долго приходилось ходить по коридору, поджидая конца его лекции. Но да не подумает кто-нибудь, что лекции о. Феодора переходили в интимные излияния относительно обстоятельств личной его жизни; мы никогда не знали, чем болела душа его; личное его переходило сперва в общее и уже в таком виде, как предмет богословской лекции, делалось нашим достоянием.

Итак, во всяком случае, о. Феодор не мог почитаться одним из — так называемых блестящих профессоров. И в Казани, и в Московской, как я слышал, академии были студенты, которые не хотели его слушать, считая его чуть не мономаном или каким-то юродивым; но большинством студентов лекции его слушались с тем напряженным вниманием, какое требовалось,

чтобы не потерять нить его мыслей. В Московской академии были недовольные часто проводимыми о. Феодором в своих лекциях параллелями между известными местами у ветхозаветных пророков и соответственными местами пророческой новозаветной книги — Апокалипсиса. Быть может, основанием или поводом к такому недовольству было то, что некоторое время для самого о. Феодора изучение Апокалипсиса было делом еще не совершенно законченным; быть может, иным курсам московских студентов приводилось быть невольными участниками черновой еще — так сказать — работы их профессора. Но так это или не так, во всяком случае, говоря о профессорстве о. Феодора, нельзя не сказать несколько слов об относящихся к профессорству его в Московской академии трудах его по изучению Апокалипсиса. Дело это составляет ключ, можно сказать, к пониманию всей последующей жизни о. Феодора и его богословского направления, которое часто думают определить одним словом: «мистик», «мистицизм», «мистический». Об этом легкомысленном определении и о том, как относился к нему сам о. Феодор, который не мог не знать об обвинении его в мистицизме, — я скажу после; теперь же приведу слова самого о. Феодора о том, какое для него имело значение изучение Апокалипсиса. Однажды он говорил мне: «Прежде чем я принялся за Апокалипсис, мне приходилось только что разве удерживаться от приражений духа хулы при чтении его...» И тяжелый вздох при воспоминании об этом тяжелом для его веры времени давал понять, какова была эта тяжесть в свое время!.. Но когда он, по его словам, принялся, с верою в истину Христову, за изучение Апокалипсиса, тогда в нем самом он нашел и разрешение тайн, и опору своему духовному пониманию всего, и поразительные светлые свидетельства веры. С того-то времени он начал смотреть на Апокалипсис, наполненный, как известно, пророческими образами Ветхого Завета, — как на ключ к уразумению и всего ветхозаветного Писания, которое при свете Апокалипсиса оказывается не историческим лишь памятником, имевшим назначением своим — служить лишь своему времени, а божественным руководством для нас, руководством на все времена, так что каждая иота или черта Писания рано или поздно раскроется для Церкви в своем значении (Мф. V, 18)*.

---

* Так о. Феодор выразил однажды уверенность, что когда-нибудь разберется и то, что значит, что в Евангелии записано число рыб, пойманных апостолами по благословению Господа воскресшего на море Тивериадском. Это он говорил в ответ на вопрос одной дамы [22], что значит, что пойманы были тогда 153 рыбы. Он отвечал, что, конеч-

Неизвестно, к какому именно времени и случаю профессорства о. Феодора в Московской академии относится отзыв приснопамятного митрополита Филарета о выслушанных им опытах истолкования Апокалипсиса о. Феодором, отзыв, который передает сам о. Феодор в своих печатных сочинениях: «Видишь мерцание-то света», — сказал ему митрополит. Не говоря о высоком авторитете величайшего из богословов Церкви Русской и о всегдашней крайней строгости суждений его, — этот суд митрополита Филарета для о. Феодора был особенно дорог вследствие того настроения его веры, что в благоволительном отношении к его делу архипастыря о. Феодор видел благоволительное призрение на это дело Самого Отца Небесного. С таким именно настроением трепетного опасения за дорогое ему дело подвергал о. Феодор «испытанию» (examen) свой опыт изъяснения Апокалипсиса на одном из студенческих «экзаменов» в Московской академии, на которых нередко подвергалось суровому и резкому приговору все, что не имело под собой опоры в авторитете исторической давности. Вопреки своим опасениям, о. Феодор встретил труду своему одобрение, и одобрение строгого судьи.

В своем некрологе о. Феодора («Голос», 1871, № 121) А. А. Лебедев говорит, что у о. Феодора выходили иногда неудовольствия с академическим начальством из-за лекций, но не сообщает, что именно служило поводом к таким неудовольствиям. Но он сообщает о неудовольствии митрополита Филарета о. Феодором за его «Письма к Гоголю». «В конце сороковых годов, — говорится в некрологе, — много шума наделала изданная Гоголем “Переписка с друзьями”. Всем известно, какое тяжелое впечатление произвела эта книга на кружок светских писателей. Следя за литературной деятельностью Гоголя и вполне сочувствуя его нравственно тяжелому положению, о. Феодор решился помочь ему. В его глазах Гоголь, оставленный светскими писателями и друзьями и не признанный и заправителями духовной жизни и науки, стал одиноким среди двух противоположных лагерей; о. Феодор хотел протянуть ему руку помощи. С этой целью он и написал сочинение, впоследствии напечатанное под именем “Трех писем к Гоголю”. Первое из этих писем он представил покойному митрополиту Московско-

---

но, и это что-нибудь да значит и когда-нибудь объяснится; но что в настоящее время, когда мы многого еще не знаем такого, что для нас гораздо важнее, вопрос этот был бы вопросом пустого любопытства.

му, без разрешения которого нельзя было напечатать ни одного более или менее серьезного сочинения никому из подведомого ему духовенства. Митрополит взял у него статью, но выразил неудовольствие на такой предмет занятий профессора по Свящ. Писанию. После этого обстоятельства о. Феодор захворал и остался в больнице при Московской Духовной семинарии; отсюда он списался с Гоголем и с этого времени с ним познакомился».

Теперь уже выяснилось в литературе, что не автор «Трех писем к Гоголю», а о. Матфей Ржевский был та «духовная особа», которой суждено было роковым образом повлиять на творчество Гоголя и даже, быть может, на сокращение самой жизни его [23]. Конечно, и прежде такое влияние на Гоголя приписывать о. Феодору могли только не знавшие его лично и не читавшие его «Писем к Гоголю». Напротив, о. Феодор всегда с величайшим сожалением говорил о преждевременной смерти Гоголя, подавленного, как он выражался, «тяжким и неудобоносимым для непривычных плеч светского человека бременем, какое некоторые ревнители православия делают из благого и легкого ига Христова учения» (Мф. XI, 30; XXIII, 4). Свое отношение к творческой деятельности Гоголя и к влиянию на нее о. Матфея о. Феодор высказывает сам в предисловии к своим «Письмам к Гоголю», предисловии, написанном тогда уже, когда письма эти печатались, — в 1860 году. Он говорит: «...в одних много духовно-живого и истинного, следовательно — Христова, только более или менее бессознательного, как было в Гоголе во время его могущественного свободного творчества; а в других духовное сознание истины в одном Христе связывается какою-то рабскою страшливостью и беспощадностью относительно всего, не носящего открыто печати <Христовой>, как и это отчасти испытал покойный в последнее время жизни» («Три письма к Гоголю». К читателю, с. 5). Первые два письма о. Феодора к Гоголю заключают в себе критический обзор произведений Гоголя, имеющий целью показать, что исповедь Гоголя в его «Переписке с друзьями» совсем не есть отрицание его прежнего творчества, а откровенное разъяснение истинного смысла его произведений. Особенно же дорого третье письмо, заключающее в себе выяснение для Гоголя того православного миросозерцания, которое Гоголь скорее предчувствовал, чем имел в сознательном обладании. Оно заключает в себе очерк священно-библейской и церковной истории и даже истории всего мира (с. 178–260; 225–236), или идеи для построения исторического материала в цельное миросозерцание. Те же идеи раскрывают-

ся о. Феодором в четырех статьях его книги «О православии», носящих название: «О современности в отношении к православию».

Не одни только письма к Гоголю из сочинений о. Феодора не встретили благосклонного приема у митрополита Филарета: у нас, в Казанской академии, ходила молва, что не получило от митрополита цензурного разрешения к напечатанию и обозрение посланий Св. Апостола Павла, напечатанное впоследствии, когда о. Феодор сам был уже членом С.-Петербургского комитета духовной цензуры, под заглавием «Несколько статей о Св. Апостоле Павле». А это исследование заключает в себе основы, можно сказать, всего богословствования о. Феодора. Не напрасно же и в настоящее время неверие, хватающееся за Христа, хвалящееся Евангелием, не может примириться с учением Ап. Павла и христианство истинно верующих обзывает павлианством [24]. Его учение служит пробным камнем для различения христианства как веры в Откровение тайн Божественных (а это — будто бы «мистицизм») и христианства, заимствовавшего из Евангелия одни термины и образы для выражения пантеистических или иных философских идей. Недозволение митрополита Филарета напечатать исследование о. Феодора о посланиях Св. Апостола Павла отнюдь не значит, что митрополит считал это исследование неправославным или вообще, на основании этого исследования, считал сомнительною чистоту и целость веры молодого ученого-богослова; иначе он не допустил бы перемещения его в другую академию на такие ответственные предметы, как богословие основное, догматическое и нравственное, и не ставил бы в заслугу Московской академии перед Казанской то, что старшая сестра уступила младшей такого профессора. Тем не менее и личный характер, и образ воззрений митрополита Филарета делают очень вероятным слух о недозволении им напечатать в Московском академическом журнале исследование о. Феодора о Св. Апостоле Павле. Всем известно, каким строгим ревнителем и охранителем православия был Святитель Московский; обладая сам глубиною богословского ведения, в других он не столько дорожил самим этим сокровищем, сколько ревновал о догматической точности и определенности слововыражения, отсюда эта, помянутая выше (примеч. на с. 506, <наст. изд., с. 145>), необщительность, скрытность, своего рода выражения в его сочинениях, не исключая даже и Катехизиса [25]; но не от него исходило то, господствовавшее у нас в 50-х годах, охранительное направление, когда лица и учреждения, стоявшие у дела духовного просвещения, сознательно держали

две истины: одну для себя, а другую для обращения в народе*. Забота об охранении православия, о верности учению святоотеческому простиралась до боязливого требования — держаться самой буквы их учения, до решительного запрещения выступить за пределы этой буквы. Митрополит Филарет не был заражен духом такого старообрядческого рабства священной букве, готового открыто отвергать всякое углубление разума в смысл Священного Писания, всякое изъяснение Писания, не заимствованное буквально у Св. отцов**.

Но мыслимо ли было, чтобы он кому-либо из учеников своих позволил выступить за пределы того, чем сам он ограничивался в выражении православного учения? Покойный Хомяков был крайне удивлен дозволением митроп. Филарета напечатать в «Православном обозрении» перевод с французского его сочинения «Катехизическое учение о Церкви»; но то был журнал, издаваемый не от духовной академии, да и статья напечатана была, кажется, без имени автора[28]. Монографию же бакалавра духовной академии об Ап. Павле предполагалось, конечно, на-

---

* Например, С.-Петербургская Духовная академия в 1855 г., печатая в прибавлениях к своему журналу «Писания Св. Отцев, относящиеся к истолкованию богослужения» и начиная этот ряд святоотеческих творений изданием «Церковной иерархии», в предисловии доказывала принадлежность этого творения Дионисию Ареопагиту, мужу апостольскому[26].

** О начале изъяснения Свящ. Писания, принимаемом Церковию Православною, митрополит Филарет так выражался, обращаясь к человеку, подпавшему влиянию римско-католического буквализма и догматизма: «Церковь Восточная предоставляет истолкование Закона (дело идет не о законе нравственном, а вообще о Божием Законе, или об Откровении Божественном в Священном Писании) собственному твоему рассуждению и совести, при помощи токмо Церковных Учителей и под руководством слова Божия. Она не имеет самовластного истолкователя своего учения, который бы давал своим истолкованием важность догматов веры» («Разгов<оры> между испыт<ующим> и увер<енным>...», изд. 1833 г., с. 4). Примером же того, до чего сильно было в высших духовных сферах направление, запретительное для всякого истолкования Писания «по собственному рассуждению и совести», может служить тот факт, что сочинения Иннокентия (Борисова), впоследствии архиепископа Херсонского: «Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа» и «Жизнь Св. Ап. Павла», напечатанные в «Христианском чтении», вызвали распоряжение — не выдавать учащемуся духовному юношеству из фундаментальных библиотек духовно-учебных заведений «Христианское чтение» за те годы, в которых помещены были статьи эти[27].

печатать в академическом журнале; да и самый предмет монографии требовал в то время крайней осторожности при напечатании в академическом печатном органе сочинения об учении Ап. Павла, и в частности учения об оправдании. Протестантство, как известно, буквально повторяет слова Ап. Павла, что верующий во Христа оправдывается *верою без дел закона* (Рим. III, 28), протестуя против направления римского католичества, которое всю надежду спасения возлагает на *дела благочестия*. Церковь Греко-Восточная, ограждая чад своих от увлечений протестантизма, впадающего в мечтательное христианство бездейственного пиэтизма, образчиками которого могут служить христианство лорда Рэдстока, Пашкова и наш южнорусский баптизм [29], — усвоила себе вероопределение о спасении *верою и делами*. И совершенно понятна крайняя осторожность митрополита в напечатании от лица его Академии раскрытия богооткровенного учения, что условие нашего спасения чрез Христа действительно есть *вера* собственно, *а не дела*, хотя эта спасающая нас вера не может быть без дел, составляющих необходимое ее проявление и свидетельство ее жизненности (Иак. II, 20).

Говоря об отношениях покойного Московского митрополита Филарета к о. Феодору, не будет неуместно припомнить здесь случай, рассказанный М. П. Погодиным в его «Воспоминании об А. М. Бухареве», которое напечатано было в «Моск<овских> вед<омостях>» за 1874 г. (№ 84). Погодин говорит, что, когда митрополит выразил о. Феодору свое недовольство по поводу представленного ему первого из «Трех писем к Гоголю» за несвойственный, по его мнению, ученому монаху выбор предмета для его писательского труда, о. Феодор, без сомнения, не оставил своего взгляда на дело невысказанным. Конечно, он и пред митрополитом исповедал те свои убеждения, которые и привели его к монашеству, убеждения относительно непозволительности для «духовных» смотреть «сложа руки» на то, как «светские» их братья трудятся и болезненно подвизаются в деле проведения в жизнь начал истины Христовой, смотреть безучастно, как они бьются — оставленные одними, терпя жестокие нападения от других. О. Феодор представлял митрополиту, в защиту начатого им дела, что обязанность *духовных — утверждать в вере* братий своих, руководить, *исправлять* их недоразумения и ошибки в этом благом деле (Лк. XXII, 32; Ин. XXI, 15; Гал. VI, 1). Для о. Феодора начатое им дело было тоже делом его монашеского подвига; письма к Гоголю писаны были им во дни Великого поста, которые о. Феодор, в этом же своем произведении, сам называет днями особенной сосредоточеннос-

ти. Но на горячую защиту своего дела о. Феодор слышал от митрополита только краткие отзывы: «это — глупо!», «это — гордо!», «это — глупо!». Видя, что для дорогой ему Христовой истины нет доступа к сердцу отца, о. Феодор в горести замолчал. «Что же ты замолчал?» — спрашивает митрополит, не слыша более возражений. «Я молчу потому, — отвечал о. Феодор, — что, сколько это от меня зависит, я не хотел бы говорить ни глупых, ни гордых речей». Голос правды, так редко в присутствии митрополита Филарета исходивший из других уст, кроме его собственных, должен был дойти до его правдолюбивого сердца; и — действительно — он тотчас же переменил тон и сказал ласково: «Ну вот, ты уже и рассердился!» Но, конечно, внутреннее сознание своей несправедливости к подчиненному монаху не могло повлиять на решение митрополита и выразилось только в перемене обращения: митрополит тотчас же переменил тон разговора и стал обращаться с своим собеседником уважительно. Что же касается о. Феодора, то весьма вероятно, что огорчение, причиненное отказом в дозволении напечатать «Письма к Гоголю» не безвинно было в болезни, постигшей о. Феодора после этой беседы с митрополитом, когда он несколько недель пролежал в семинарской больнице; когда же, по выздоровлении, перед отъездом в Лавру о. Феодор опять явился к митрополиту, владыка принял его с особенной лаской и часа два провел в отечески-откровенной беседе с ним, отказывая другим посетителям. Понять и оценить самую правдивость молодого ученого иеромонаха могут те только, кому известна крайняя бесцеремонность обращения покойного митрополита Филарета с своими подчиненными и — то, как все трепетало и безмолвствовало пред его взором и словом.

Этим рассказом заканчиваю ту часть моих «Воспоминаний об о. Феодоре», которая обнимает слышанное от других, частию же и от него самого о его жизни, предшествовавшей личному моему знакомству с ним, по приезде его на службу в Казанскую академию. Но личным моим воспоминаниям о нем самом мне хотелось бы предпослать краткий очерк той среды, в которой привелось ему жить и действовать в Казанской академии. Желающих получить более подробное представление об этом общем фоне картины отсылаю к несравненной по живости изображения «Истории Казанской Духовной академии» П. В. Знаменского. Здесь как живые проходят перед читателем ректор архим. Агафангел (т. I, с. 104–114), инспектор архимандрит Серафим (с. 118–124), помощник инспектора архимандрит Вениамин (с. 180–183), иеромонахи Диодор (с. 131–132), Григо-

рий (с. 177–178) и, наконец, ректор архимандрит Иоанн (с. 136–215), при котором и по влиянию которого закончилась академическая служба и деятельность о. Феодора в Казани. Но здесь уместно будет сказать, собственно, о ректоре Академии Агафангеле, инспекторе Серафиме и помощнике его Вениамине, служебною деятельностью которых ближайшим образом подготовлена была среда студенчества как почва для деятельности о. Феодора и как живой предмет и радостей, и огорчений в казанский период жизни о. Феодора. Дальнейшие изменения этой среды под влиянием новых начальствующих и служащих лиц в Казанской Духовной академии обрисуются сами собой в последующем ходе моих воспоминаний.

Ректор Казанской академии архимандрит Агафангел, скончавшийся в 1876 г. архиепископом Волынским, дважды в течение своей служебной жизни обратил на себя внимание всего духовного мира в России: при начале своей духовно-учебной карьеры безыменным донесением о распространении из С.-Петербургской Духовной академии перевода с еврейского пророческих священных книг, сделанного профессором той Академии, прот. Герасимом Павским[30]; в конце своего архипастырского служения преосвященный Агафангел, напротив, открыто выступил с протестом, на который не осмеливались другие, протестом против задуманной тогдашним обер-прокурором Свят. Синода гр. Д. А. Толстым реформы духовного суда. Проектом этой реформы глубоко возмущены были все архипастыри Церкви Русской, считая его антиканоническим посягательством на церковные права и власть епископа; но открыто возвысить голос против обер-прокурора, непреклонного при проведении в жизнь своих предначертаний, решился один только архиепископ Волынский, и то, быть может, потому именно, что, считая себя стоящим уже одной ногой в могиле, не страшился уже увольнения на покой*. Его резкий отзыв дал точку опоры при рассмотрении в Синоде отзывов, поступивших и от других архипастырей, и — совсем уже готовая было — реформа суда духовного была отклонена[31]. Но и тот, и другой протесты свидетельствовали об энергии, какою одарен был от природы молодой иеромонах или престарелый архиепископ — Агафангел. О. Феодор и по годам, и по службе на десять лет был моложе своего начальника по Казанской академии, архим. Агафангела[32]; в

* Известный канонист — преосвящ. Алексий (Лавров), впоследствии архиеп. Литовский, свое возражение на проект издал не от своего лица, а от имени светского писателя Елагина.

Московской академии он встретился с ним очень лишь на короткое время. Когда в 1842 г. студент Тверской семинарии Александр Бухарев поступил в Академию, иеромонах Агафангел, только что сделанный инспектором Академии, в сентябре того же года уже оставил ее, был возведен в сан архимандрита и послан на ректуру в Харьков. Но едва ли пригодилось бы чем-нибудь прежнее знакомство о. Феодора с его новым начальником: говорят, архимандрит, потом епископ, напоследок архиепископ Агафангел каждым своим служебным перемещением пользовался, чтобы на новом месте служения начать жить не так, как жил на прежнем месте; если же это правда, то, значит, он постоянно играл роль и нигде не был сам собою, постоянно парадировал пред окружающими, рассчитывая на эффект. В Казанской академии он изображал из себя администратора — с непреклонной волей, с безапелляционными решениями. Но даже и от студентов Академии не могло укрыться, что этот — такой «важный» — ректор сам себя ценит не по своей оценке, а по благоволению к нему начальства, по расположению к нему общества, что не могло способствовать образованию истинного к нему уважения в среде студенчества. Не пользовался он уважением в Академии и как ученый. Конечно, из семинарий в академии поступали самые даровитые воспитанники — человека 2–3 из 80 и более оканчивавших курс в данном году, из числа этих отборных при академиях оставляемы были опять лишь самые даровитейшие; потому, говоря вообще, в среде академических преподавателей, из которых комплектуется и персонал начальствующих в академии, не может быть положительно бездарных. Но как в одном, не помню его названия, в одном голландском городке, населенном исключительно миллионерами, все же оказывается разделение обывателей на богатых и бедных, так и в корпорациях деятелей науки при высших учебных заведениях не всякому удается составить себе и удержать за собой репутацию умного профессора. Не составил себе такой репутации и ректор Агафангел в Казани. Самообольщением оказался и воображаемый им в себе талант администратора, дающего по своей воле ход и направление вверенному ему учреждению. Казанская академия в ректорство архимандрита Агафангела представляла собою хорошо налаженную предместниками его машину: а машинистом был инспектор — архимандрит Серафим.

Немного могу я сообщить из личных моих воспоминаний к характеристике отношений, какие должны были установиться между ректором Академии Агафангелом и архимандритом Фе-

одором. Предметом толков между нами — студентами — прежде всего послужил опыт их совместной писательской деятельности. При Казанской академии в 1855 г. основан был духовный журнал — «Православный собеседник». В первых же книжках нового журнала появилась статья «Новозаветный закон в сравнении с ветхозаветным». Под таким заглавием предложено объяснение нагорной беседы Христа Спасителя по Евангелию от Матфея. Статья напечатана без имени автора — по обычаю того времени ни в одном из духовных академических журналов имена авторов не печатались. И как случилось, что ректор Агафангел и о. Феодор предприняли небывалый опыт совместного авторства,— нам осталось неизвестным; но нетрудно было всякому видеть, где кончалась работа одного автора и где начиналась речь другого. Ректору принадлежит в статье сухой перифраз буквы изложенного у евангелиста Христова учения, перифраз, похожий на наши учебники по Закону Божию для начальной школы. В это объяснение буквы, которая в буквальном объяснении вовсе и не нуждалась, о. Феодор вложил духовное понимание Христова слова, обращенного к геннисаретским рыбакам, их женам и детям. Это были те же объяснения Христова учения о любви к врагам, о непротивлении злу, о клятве, о разводе и пр., какие после напечатаны были о. Феодором в книге «О Новом Завете Господа нашего Иисуса Христа». Ректор не мог не признать справедливости слов митрополита Филарета, что в лице о. Феодора он посылает ценный дар молодой Академии от старшей сестры ее.

Он и не преминул воспользоваться этим даром, однако попытка не имела успеха. Был тогда в Казани помещичий дом Горемыкиных, куда собирались потолковать «о материях важных» посвободнее, чем это можно было в клубе. Здесь бывали представители университетской науки; бывал и ректор Агафангел как представитель духовной учености. Когда в дебатах горемыкинского салона задевались вопросы, соприкосновенные богословской области или когда и общие вопросы трактовались людьми науки независимо от начал «православия, самодержавия и народности», ректору нельзя было не выступать представителем и защитником православно-церковных воззрений; но едва ли он мог чувствовать себя победителем на этих словесных турнирах. И вот ему, по складу своего ума обладавшему свойством все видеть ясно и все вопросы решать просто, понадобился и пригодился теперь этот не блестящий и не речистый выходец Московской академии, который и давно всем известные вопросы решает как-то по-новому, и говорит мудрено о

том, что прежде всем казалось ясно и просто. Побывал о. Феодор на этих вечерах у Горемыкиных, послушали его сторонники неверующей науки: увидали, конечно, что они говорят на разных с ним языках, и замолчали. Так и не удалось о. ректору сделать о. Феодора присяжным полемистом Церкви на горемыкинских вечерах. Не хотел бывать на них и другой представитель богословской науки в Казанской академии — инспектор Серафим, который с своим диалектическим умом как раз подходил бы к назначению — заграждать уста противящимся истине (Тит. I, 11; 2 Тим. III, 8).

Рассказ свой об отношениях между ректором Академии Агафангелом и о. Феодором закончу воспоминанием о двух огорчениях, которые привелось о. Феодору испытать от ректора. Первое — это когда ректор увидал на о. Феодоре орден не на такой ленточке, на какой полагалось носить его; другое — было серьезнее. Не могу утверждать, потому что слышал этот рассказ от человека, который сам ничего не смыслил в лентах и орденах, но, по всей вероятности, дело было в употреблении александровской ленты вместо аннинской. Что́ удивительного, что о. Феодор никакого внимания не обратил на то обстоятельство, что на красной ленте, к которой пришили ему орденский крест, нет узенькой желтой полоски по краям, а о. ректор увидал в этом чуть не государственное преступление и разбранил кавалера, не знающего толка в кавалериях[33]. Но как скоро рассеялись в воздухе раскаты грома из уст ректора, так и забылась эта — в сущности забавная — история. Другое огорчение не так дешево обошлось о. Феодору; оно стоило ему одного из болезненных припадков уныния, делавших его не способным на некоторое время ни к какому занятию. Это было огорчение, когда ректор не принял от о. Феодора его отчет о ревизии Симбирской Духовной семинарии, как не удовлетворявший требованиям канцелярской формы. У о. Феодора не было и не могло быть двух точек зрения: одной — для дел земных, житейских, другой — для дел духовных; потому и не мог он понять, чтобы о результатах ревизии Духовной семинарии, о деле образования и воспитания в духовно-учебном заведении можно было говорить не как о деле собственно Христовом, а как-нибудь иначе. Ректор же Академии Агафангел не мог допустить и мысли, чтобы в деловые бумаги академического Правления вторгался богословский элемент с своим богословским языком; еще менее мог он допустить в отчете о ревизии те своеобразные выражения, без которых не мог обходиться о. Феодор при изложении своих богословских воззрений. Итак, ректор потребовал

от ревизора переработать отчет о ревизии, да и не в одних только выражениях, а — по существу, так как и содержание представленного о. Феодором отчета не укладывалось в рамки официальных рубрик ревизорского отчета. Ревизорский отчет о состоянии образования и воспитательной части в духовно-учебном заведении, освещенный светом, исходящим от креста Христова, казался о. ректору такой же непозволительной несообразностью, как аннинский крест на александровской ленте; а для о. Феодора требуемое от него умолчание в отчете о Христе, Агнце Божием, вземлющем грехи мира, и об отношении к этому делу Христову духовно-воспитательного дела в Симбирской семинарии представлялось требованием отступничества от Христа. Не знаю уже, в переделанном или не в переделанном виде лежит в архиве Казанской Духовной академии этот отчет, стоивший столько крови его составителю (см.: Ист<ория> Каз<анской> ак<адемии>. Т. I. С. 341).

Может быть, после этих рассказов понятнее будет, если я скажу, что о. Феодор к ректору Академии Агафангелу мог иметь только случайные и служебные отношения, отношения подчиненного к начальнику, а не человека к человеку; очень уж далеко и глубоко человек был запрятан под рясой и клобуком в архим. Агафангеле — служилом человеке духовного ведомства. Только уже оставляя Академию по назначении в викарии митрополиту С.-Петербургскому Григорию, выдал архим. Агафангел свое внутреннее отношение к этому монаху — совсем не Синодального периода, а точно как будто бы современнику Исидора Пелусиота или долгих братьев[34]: уезжая, он пожелал исповедаться у о. Феодора; и это уже — не напоказ, так как никто не знал и не мог знать о том; много лет уже спустя, както к слову, сказал мне об этом о. Феодор.

Совсем иного рода отношения установились у о. Феодора по приезде его в Казань с тогдашней инспекцией Академии — архим. Серафимом и архим. Вениамином; здесь вскоре почувствовалась рознь принципиальная, а не случайная, — рознь в самом направлении, а не от разности личных вкусов или от столкновения личных интересов.

Можно было бы предположить, что архим. Феодор и архим. Серафим должны были хорошо уже знать один другого задолго еще до встречи своей на службе в Казани, где один был уже инспектор Академии, а другой— легко было предвидеть — приехал в качестве готового преемника ему по инспекторству. Когда — теперь уже архим. Серафим, а прежде Сем. Ив. Протопопов — был студентом старшего курса Академии, Александр

Матв. Бухарев, студент младшего курса, 2 года жил в одном «номере» с первым. На самом же деле при встрече своей в Казани ни тот, ни другой не могли признать в лице своего прежнего сотоварища «старого знакомого». Нет сомнения, что и в студенте младшего курса Александре Бухареве в первые два года его академической жизни, когда С. И. Протопопов как «старший» по обязанности должен был наблюдать и аттестовать его характер и поведение, далеко еще не сложился бакалавр и профессор иеромонах Феодор; еще менее сам о. Феодор мог признать в архимандрите Серафиме прежнего студента-москвича С. И. Протопопова. В Московской академии студенты-москвичи всегда составляли как бы аристократию своего рода, и по костюму, и по манерам, благодаря тому обстоятельству, что между ними большинство были дети московского, обладавшего средствами духовенства. Из среды других студентов Московской академии, бывших семинаристов, особенно должен был отличаться и достатком, и светскостью приемов С. И. Протопопов — сын богатого московского протоиерея, учитель детей в доме известного министра финансов при государе Николае Павловиче, графа Канкрина. И в начале своей казанской академической службы С. И. Протопопов был еще душою светского общества, неутомимым танцором вечеров, дорогим для всех гостей, разливавшим вокруг оживление и веселье. Как вдруг что-то такое случилось и — умер прежний Сем. Ив. Протопопов!.. его место заступил живой мертвец — монах Серафим. Когда в 1854 году я поступил в Казанскую академию, семь лет уже прошло со времени пострижения о. Серафима; он был уже архимандритом; но и я застал еще мертвую оболочку этой мертвой души, — нет, пожалуй, не мертвой, но, видимо, пережившей состояние смерти: тусклые, мертвые глаза, слабый, едва слышный голос, медленные, размеренные движения, а особенно эти глаза мертвеца производили и на других угнетающее, мертвящее действие; когда через 30 лет я снова увидал его уже престарелым епископом, он был много живее прежнего — и взглядом, и речью, и в движениях. Если в духовном подвиге смерти для земного мира нужны и могут быть руководители, то бакалавр Казанской академии С. И. Протопопов встретил себе такого руководителя в лице профессора той же Академии, архимандрита Антония (Радонежского), бывшего после епископом Уфимским, потом — Оренбургским, потом членом Московской Синодальной конторы, без управления какою-либо епархиею, и, наконец, уволенного на покой от всяких дел управления. Преосвящ. Серафим, как скоро получил в самостоятельное

управление епархию, взял его к себе в Смоленск, где и покоил его до смерти в одном из смоленских монастырей. Этот-то епископ, а тогда еше архимандрит Антоний, тоже пережил в свое время «горечь смерти» (1 Цр. XV, 32): он — тоже некогда веселый, молодой, здоровый, жизнерадостный, — схоронивши нежно любимую, молодую красавицу-жену, с которой и года, кажется, не прожил после брака, тотчас же принял монашество и вскоре из Нижегородской семинарии, где был профессором, вызван был на профессорскую кафедру в Казанскую академию. Между его пострижением и пострижением С. И. Протопопова не насчитывается и трех лет расстояния; а отношение духовного сыновства о. Серафима к архимандриту Антонию и глубокое, до конца жизни уважение преосвящ. Серафима к памяти его учителя в жизни духовной не оставляет никакого места сомнению в том, что архим. Антоний своим словом и примером указал С. И. Протопопову в монашестве желанный гроб для потерпевшего какое-то смертельное поражение духа его. Но архим. Антоний, научивши своего ученика умереть для мира, не мог дать ему начала для новой духовной жизни. Из ученика вышел образцовый монах, далеко позади себя оставивший в этом отношении своего учителя, но не тот «праведник», которому «не лежит уже закон» (1 Тим. I, 9), потому что он стоит уже выше требований закона; из ученика, по подобию его учителя, вышел праведник, живущий по началу: «сотворивший все повеленное» в законе, тем самым, исполнением закона, — и «будет жив» духовно (Рим. X, 5).

Это столь распространенное у нас начало богоугождения еще до инспекторства о. Серафима положено было в основу инспекторской воспитательной деятельности, а при нем студенческая жизнь доведена была до небывалой высоты с этой точки зрения, до небывалой строгости в выполнении этого начала; студенческая корпорация являлась образцово-послушной исполнительницей воли начальства и уставных правил внешнего благоповедения. Идеал морали, разработанной в католичестве, чтобы живой человек стал instar ac cadaver*, — движимый только волею начальства, этот идеал, казалось, близок был к осуществлению. Беда была лишь в том, что не было *духа, оживлявшего сухие кости* (Иезек. XXXVII, 8)... Не мог не заметить такого направления в жизни Казанской академии, когда приехал сюда, о. Феодор. Верный ученик Ап. Павла, он увидал в ней то самое направление, против которого всю жизнь свою вел

* подобен трупу (*лат.*).

борьбу Апостол, — направление возврата от благодати к закону. С самого начала своей академической службы в Казани стал о. Феодор открыто высказываться против такого направления, а это не могло не отозваться некоторым разладом между ним и между наличными заправителями тогдашней академической жизни. Инспектор Академии о. Серафим и бывший помощник его по должности инспектора о. Вениамин, которого заменил потом в этой должности иеромонах Григорий, были монахи по образу жизни безукоризненные; но всякий новый Савл — ревнитель праведности по закону, — чем более являлся «по правде законной непорочным» (Филип. III, 6), тем сильнее должна была действовать проповедь самой его жизни, тем успешнее должен был он своим примером закреплять и других в направлении — возлагать надежду спасения на исполнение закона. Такой именно живой проповедью новоиудейства, оправдания законом, а не благодатию, являлась о. Феодору инспекция Казанской Духовной академии в лице образцовых монахов о. Серафима и о. Вениамина. И, наоборот, все, что доходило до их слуха из бесед о. Феодора с студентами, в аудитории ли, в профессорской ли его квартире, об иудейском направлении и фарисейском самооправдании, если и не истолковывалось в смысле прямых намеков на лица, тем не менее болезненно затрагивало чувствительность предшественников о. Феодора и должно было казаться несправедливым перетолкованием истинно православного направления; они видели в о. Феодоре опасного мечтателя, который своей проповедью о спасении благодатию и умалением закона пред благодатью может подорвать существующие порядки академической жизни, расшатать укрепленную целыми годами строгой дисциплины добропорядочность студенческого поведения.

Здесь же, несколько упреждая порядок времени, скажу, что на стороне духовного направления, поддерживавшегося в Казанской академии преемством архим. Антония, архим. Серафима, архим. Вениамина, был и иеромонах Григорий, бывший потом помощником по инспекции самого о. Феодора и доселе проживающий на покое в одном из монастырей Москвы, в сане епископа, после управления епархиями Туркестанскою, а потом Омскою. В своих лекциях по Священному Писанию о. Григорий являлся как бы учеником о. Феодора, потому что широко пользовался его московскими лекциями; но по духу и направлению это был такой же ставленник о. Вениамина, как и сам о. Вениамин был ставленником о. Серафима.

В заключение настоящего предисловия к «Моим воспоминаниям об о. Феодоре» скажу, что и сам я воспитан был в направ-

лении «правды законной», был «дитя закона», как назвал меня однажды о. Феодор. Послушный, исполнительный, сдержанный, вообще образцовый по поведению, набожный наконец, или, как у нас часто говорят вместо «набожный» — благочестивый, не различая благочестия и набожности, — я из числа всех студентов Академии был особенно любим и о. Серафимом, и о. Вениамином. Воздействие на меня о. Феодора и мое перевоспитание под его влиянием должно придавать моим воспоминаниям особое значение, значение типического, так сказать, изображения того воздействия, какое оказывал о. Феодор, в большей или меньшей мере, на всех вообще студентов Академии, — изображения воспитательного его влияния на среду академического студенчества.

I
АРХИМАНДРИТ ФЕОДОР — ПРОФЕССОР

Достославные выписки из моих писем всего, касающегося в них о. Феодора, с комментариями в случаях надобности

1854/55 УЧЕБНЫЙ ГОД

(1854 г. Окт. 10-го). «Во вторник (5 окт.) поутру все начальствующие и учащие уехали прощаться к архиерею (митр. Григорию, уезжавшему в С.-Петербург для присутствования в Синоде), и потому у нас первого класса не было. Вдруг разносится весть, что приехал Лев Петрович с отцом. (Л. П. Полетаев, из нижегородцев — студент, в этом году первым окончивший курс, предназначенный к оставлению при Академии и готовившийся к пострижению, — в монашестве Григорий, о котором только что сказано выше.) Я схожу вниз в комнатку к о. Варсонофию*; поздоровался с Л. П.; вижу — стоит, не знаю — священник, не знаю — дьякон; давай, думаю, на всякий случай попробую принять благословение. Потом мы вышли со Л. П. в коридор и он сказал мне, что это — о. Феодор, новый наш профессор. Он приехал со Львом Петровичем на одном пароходе и, так как начальства никого не было, тоже взошел к о. Варсонофию. После поместился он у о. ректора в зале, где отгородили ему ширмами уголок для спальни; а послезавтра, вероятно, перейдет он в комнаты о. Серафима, для которого — наконец — отделали ком-

* Тоже в этом году только что окончивший курс и уже принявший пострижение, скончался епископом Симбирским.

наты в главном нашем корпусе, в среднем этаже. Лев П. поместился уже в собственной квартире, в том флигеле, где жил о. Серафим. Вчера (9 окт.) видел я Льва П.; вчера приходил он к нам в верхний коридор и попенял нам (землякам своим, студентам младшего курса — нижегородцам), что мы не ходим к нему; а ныне пропал наш Лев П. Вместо него у нас в Академию прибыл еще монах... Григорий. Ныне (воскр., 10 окт.) совершилось пострижение Л. П. Вчера я не хотел прежде времени сообщить Вам эту новость. Постригал о. ректор; главным восприемником был о. Серафим, другим — о. Феодор. О. Феодор — маленький, белокурый, с робкими приемами, точно последний иеромонашишка какой-нибудь пустыни. Вчера он был в классе, не у нас, а у старших студентов; кажется, понравился им. Говорят, что он, вероятно, будет сдавать свои лекции вместо Макариева богословия, которое здесь служит учебником. Он поступает на богословие всех родов, исключая полемику против раскольников, которая останется специальным предметом о. ректора, и исключая также нравственное богословие и литургику, которые будет преподавать о. Серафим. Вместо о. Серафима Свящ. Писание займет о. Григорий; только дочитает о. Серафим Введение в Свящ. Писание, а Льву Петровичу уже велено было готовить Пятокнижие. Мы даже не знаем, кто придет к нам в середу, о. Серафим или о. Григорий».

«Во вторник при мне заходил к о. Григорию о. Феодор, который в тот день только что перешел на свою квартиру: в бывшие комнаты о. Серафима, наискосок от о. Григория. Ему нужно было кое-что наказать — прибрать в своих комнатах, и он, уходя сам в главный корпус, просил о. Григория передать его слова человеку. Переговорив с о. Григорием, он обратился ко мне: “А это ведь, кажется, г. Лаврский?” — сказал он. Я принял его благословение. Такой он памятливый! видел меня только раз — в день своего приезда — и запомнил не только лицо мое, но и фамилию! Студенты его преподаванием довольны; он обыкновенно говорит, а не читает; вчера, говорят, он целый класс говорил дилеммами: “или — или”. Между прочим: здесь, в Академии, испокон веку велось, что *дни творения* принимаемы были за *эпохи*. Так учили и прошедший и настоящий о. ректор[35]; о. Феодор говорит, что допустить это мнение невозможно; по следствиям своим оно служит к подрыву христианского толкования*.

---

* О. Феодор указывал на то обстоятельство, что с обращением дней творения в эпохи соединено признание в мире появления смерти прежде грехопадения, и даже прежде самого сотворения человека.

Воскресенье (30 окт.). «О<тец> Феодор после каждого класса возбуждает о себе большие толки. Вот что я выбрал общего из разных отзывов о нем: он поэт; чувство у него преобладает над рассудком; и потому студенты очень многого из его слов не могут принять за истину; но он говорит с таким жаром, с таким глубоким внутренним убеждением, что, пока он говорит, с ним нельзя не согласиться; притом он искусный диалектик, но самый способ его посылок и заключений совершенно своеобразен; на все у него свой чисто субъективный взгляд. Вчера один студент уже перед самым звонком выразил ему свое какое-то недоумение, возразил ему; звонок помешал им; студент в 4 часа пошел к нему на дом, и о. Феодор битых два часа, до самой всенощной, трактовал с ним, как обыкновенно — в сильнейшем экстазе. Он много начитан; в этом разговоре он приводил свидетельства и из "Одиссеи", и из "Илиады", и из "Магабараты" [36]. О Гоголе он отзывается: "Явился было у нас сын Христов; но те-то, которым бы следовало принять его, пастыри Церкви, — они-то его и не приняли". Вообще он исступленный человек. Еще его слова: "Батюшка вы мой! Да уж вы не сомневайтесь! уж Бог-то есть бесконечная любовь; уж то самое, что Он троичен, показывает, что Он есть любовь. Иначе, прежде сотворения мира, чем бы обнаружилась Его-то любовь, и вот Он, так сказать, разделился, чтобы любовь-то эта обнаружилась"».

Прошу извинения у читателей за этот жаргон семинарской схоластики: «возражать», «свидетельства (?)» из «Илиады», «Одиссеи» и пр. Я не хочу исправлять тогдашнего моего выражения мыслей, чтобы не подрывать доверия к подлинности исторического документа, представляемого моими письмами; я уверен, что читатель сам поймет, что хотел я тогда сказать выраженями: «экстаз», «исступленный человек», «своеобразный способ посылок и заключений» и пр.; все это штрихи очень неудачные, но они передают впечатление, произведенное тогда о. Феодором на аудиторию; потому я и оставляю без всяких исправлений это изображение.

«В *воскресенье* (*7 ноября*) обедню служил у нас в первый раз о. Феодор».

«*В пятницу* (*17 ноября*) у нас должен производиться главный экзамен по шести предметам... В 9 часов пришел о. ректор со всем почти генералитетом. Экзамен начался по психологии. Сначала — Соколова и другого затем — спрашивали очень дол-

го и сбивали*; вызывали по списку, как мы были приняты. Под конец списка к билетам из психологии примешали билеты из истории философии. Потом о. ректор разделил труд экзамена: о. Феодору дал экзаменовать по словесности, о. Серафиму по герменевтике[37], а сам стал экзаменовать по физике. Меня спросили сначала к о. Феодору; он потеребил меня за пуговицу (без этого он не может говорить со студентом); потом спросили меня по физике, потом о. ректор, окончив экзамен по физике, переспросил нас по математике и естественной истории и ушел домой, а о. Феодор и о. Серафим еще все экзаменовали».

(*Декабря 27-го*). «В прежнем письме позабыл я, кажется, написать Вам, что наш о. Феодор уехал еще перед праздником в Семизерную пустынь, не очень далеко отстоящую от города[38], и спасается там еще и доселе. О. ректор в понедельник на празднике тоже уехал в Раифскую пустынь, но в середу вечером уже возвратился назад».

(*Генваря 23-го дня*). «Ныне обедню у нас служил о. Феодор». «О. Феодор наш просится на покой в Раифскую пустынь, в которой гостил он на рождественских вакациях. При его слабом здоровье ему академический воздух чрезвычайно, говорят, вреден, особенно при наших амосовских печах[39]. А, кажется, еще больше вредят его больному духу огорчения; всякое сильное душевное движение неблагоприятно действует на его здоровье, а он так способен одушевляться. Говорят, даже в простом разговоре он воодушевляется, покраснеет и вдруг утихнет, сказав: "Ах! да бишь**, — мне вредно"... Я думаю, студенты не без сожаления расстанутся с ним, если на его просьбу согласятся; наставник недюжинный, с своим глубоким взглядом на предмет».

«О. Феодор еще на масленице уехал в свою любимую Раифскую пустынь» (*Февр. 12-го*).

Раифская пустынь — монастырь в 40 верстах от Казани; кругом в лесу, при большом озере и с течением времени сделалась любимым местом казанцев для дачной жизни по красоте местоположения; но зимой, конечно, могла иметь одну только привлекательность глубокого уединения. Потому-то и замечено было

---

* Тоже семинарский термин: возражениями испытывали, уверен ли студент в истине высказываемых им положений, не отступится ли он от них, когда против них сделаны будут ему возражения.

** Провинциализм; из древнеславянского: «быша».

выше, что о. ректор уехал туда на праздник Рождества в понедельник, а в середу уже вернулся назад.

«P. S. Говорят, наш о. Феодор сильно болен».

1855 г., апреля 17-го дня. «В четверг был ненадолго у Ив. Як. Порфирьева по книжным делам, а ныне в субботу был у о. Феодора, к которому тоже о. ректор посылал за одной книгой, все для задачи же. Не знаю, что за фантазия пришла ему: он при прощаньи, благословив, поцеловал меня».

Тогда, как видно, я очень еще мало понимал о. Феодора; так и тут не понял, что это был протест делом и истиною сердечного, любящего отношения к студенту Лаврскому против моего деревянно-машинного отношения, какое, по тогдашним моим убеждениям, подобало иметь благовоспитанному студенту к начальству; профессор и архимандрит в моих глазах тогда, несомненно, был уже начальством. Очень может быть, что, даже и без особенного старания с моей стороны, эта усиленная официальность сама собою сказывалась в каждом моем слове и в каждом движении; выходило так, что явившийся к о. Феодору студент Лаврский говорил: я № 16[40], по приказанию о. ректора, долг имею... и пр. и пр. Как подходить духом своим к Отцу, переступая порог в квартиру начальника, этому словами научил меня о. Феодор уже впоследствии; а теперь, сопровождая напутственное свое благословение поцелуем, он молча давал мне понять, по крайней мере хотел мне дать понять, — что слово «отец» может быть не просто общепринятым присловьем при титуловании особ высокопреподобного ранга, а выражать и действительные отношения между высшими и низшими. Я тогда не понял этого отношения, потому что под влиянием раннего чтения твердо веровал правилу, что homo homini lupus*.

(*Апр. 23 и 24-го, 1855 г.*). «Что за дивные лекции читал нам о. Григорий о Книге Иова. По направлению и духу — это лекции о. Феодора; он в Московской академии преподавал Свящ. Писание и отдал свои записки о. Григорию. Итак, мы будем иметь на Ветхий Завет прекрасные записки».

По всей вероятности, это и были лекции о. Феодора о Книге Иова не в переделке, близкой к подлиннику только «по духу и направлению», а буквально то самое, что́ впоследствии о. Феодором было напечатано. Начинающему бакалавру, каким был тогда о. Григорий, не так легко было писать что-нибудь свое в духе и направлении о. Феодора. В том же духе и направлении

---

* человек человеку волк *(лат.)*.

читал нам о. Григорий впоследствии характеристику четырех Евангелий, по руководству Церкви Православной, усвоившей евангелистам символы орла, льва, тельца и человека[41]. Это была, по-видимому, уже самостоятельная работа о. Григория, только по руководству о. Феодора. Ни в печати эти характеристики не являлись, ни в рукописи не найдены.

(*1855 г., мая 1-го*). «Еще новость: о. Феодор прежде просил только письмом у Преосвященного увольнения, но наконец решился проситься формально. Он принимает теперь от ректора Семинарии Иосифа Ивановский монастырь, в котором голодает 6 монахов братии (Ивановский монастырь близ Кремля на площади). Иосиф уезжает куда-то лечиться».

«Наш о. Феодор прежде попросил частным письмом у Преосвященного позволения подать просьбу об увольнении его от Академии. Преосвященный, как уже Вам известно это, не согласился на его просьбу, позволил ему съездить, если нужно, и пожить в его любимой Раифской пустыни, но не оставляя академической службы. Наконец о. Феодор не вытерпел, подал формальную просьбу об увольнении и — нет причины, по которой бы могли удержать его. Итак, по всей вероятности, нам не удастся послушать этого замечательного наставника-энтузиаста. Ему предлагали в управление Ивановский монастырь; он отказался, "потому что, — говорит он, — это все равно, что жить и в Академии"».

(*Мая 15-го 1855 г.*). «У нас в городе ходит предположение, что когда совершенно уволят ректора семинарии Казанской Иосифа, то на его место переведут о. Серафима. В таком случае прямое место в инспекторах быть о. Феодору; и — говорят — он едва ли откажется. Как видно, академический воздух и амосовские печи, на которые жаловался о. Феодор, были выражения более метафорические, а истинная причина его желания оставить Академию — в том направлении, какое он видит здесь, — в направлении формализма, видимости, буквального исполнения закона или, как он выражается, в направлении фарисейства. Воплощение этого направления он видит в о. Серафиме; с ним-то именно он и не сошелся. Между тем о. Феодор — истинный подвижник, постничество его чрезвычайное; от своей милостыни он постоянно в долгах».

(*Мая 22-го 1855 г.*). «Ныне (в Духов день) у нас служил о. Феодор, а это — большая редкость».

До своего инспекторства он мог служить только тогда, когда не могли почему-нибудь служить в академической церкви ар-

химандриты, старшие его по службе, — о. ректор и о. инспектор; потому что архимандритам не только вдвоем, но и втроем служить было не принято, и младшие, когда в Академии служил старший, если не хотели оставаться неслужащими, должны были отыскивать себе для служения какую-нибудь другую церковь, если не получали приглашения служить в какой-нибудь приходской церкви, служили в одном из монастырей Казани, где монахи тоже не всегда рады бывали служению архимандрита, так как оно не убавляло, а прибавляло для них труда священнослужения: без архимандрита служил бы один иеромонах, а с архимандритом нужно было служить двоим; зависимость в экипаже и лошадях от выезда других академических архимандритов тоже делали затруднение для о. Феодора в отыскивании места служения вне Академии. Все это должно было для о. Феодора делать тоже не совсем приятным его положение в Казанской академии до инспекторства, как лишнего архимандрита. Лишаться общения в трапезе Господней из-за того, что негде было служить, — это не могло не огорчать его.

(*Июня 5-го 1855 г.*). «В среду около вечерен приехал Преосвященный (архиепископ Григорий, отпущенный из Петербурга, где он присутствовал в Святейшем Синоде)... Ныне о. ректор и о. Феодор приглашены были служить с ним и потом — к его обеду. У нас служили только о. Вениамин и о. Григорий; о. Серафим был в Академии, но не служил — вероятно, по болезни (за несколько дней перед тем он даже по должности инспектора не принимал студентов). Но и он, и о. Вениамин, и о. Григорий тоже обедают у Преосвященного... О. Феодор недавно сказал в классе по поводу прочтения некоторых студенческих сочинений, что здесь очень много людей с превосходными дарованиями — и в начале, и в середине, и в конце списка».

(*Июня 17–20-го 1855 г.*). «Ныне надеюсь сходить к обедне — тоже на кладбище. (Кладбище в Казани очень близко от Академии — против окон ее, и отделяется только полем, представляющим собою неправильный многоугольник.) О. Феодор ныне уже не ходит туда; он живет в Ивановском монастыре, который принял на время отлучки о. ректора семинарии; вот уже неделя с лишком, как он переехал туда».

1855/56 УЧЕБНЫЙ ГОД

(*Августа 28 и 29-го 1855 г.*). «О<тец> Феодор наконец приехал». «Ныне в классе он выражал старшим студентам, что

хотел было он бежать из Академии, да его не пустили; значит, он и еще останется у нас».

(*Сент. 4 и 5-го 1855 г.*). «Во вторник служение было» (в Казанском женском монастыре) «самое торжественное: служили: Преосвящ. Григорий, о. ректор, о. Вениамин — архимандрит, настоятель Зилантова монастыря, о. Серафим, о. Феодор, о. Иннокентий — иеромонах, инспектор семинарии, еще иеромонах, о. ключарь — очень молодой, еще не обросший волосами священник из наставников семинарии и еще один священник в скуфье: итого — 9 человек. Здесь-то о. Феодор, благословляя меня, передал мне Ваше благословение, которое, говорит он, Вы с ним послали мне». «В понедельник был праздник в Ивановском монастыре, где ныне живет о. Феодор. Там служил Преосвященный Никодим * и из наших, кроме о. Феодора, о. Вениамин и о. Григорий. Преосвящ. Никодим не остался на обед, и обедали у о. Феодора только наши с дьяконами да еще один странник из Иерусалима, живший несколько времени и на Афоне, который занимал их рассказами о турках и англичанах, с которыми ему приводилось иметь дело. О. Феодор за обедней сказывал проповедь».

«Вышла вторая книжка “Православного собеседника”. В ней продолжаются прежние статьи; а новые, кажется, только две: о. ректора — о раскольнических книгах и Преосвящен. Григория о слове “истинного” в Символе Веры[42]. Статья о. Феодора — “Апостол Павел в своих посланиях” — не будет помещена, потому что она, по экзегетическому[43] своему характеру, должна бы была отправиться для цензуры в Свят. Синод (а кажется мне — больше по недоброжелательству; А. Н. Иорданский как цензор не одобрил за темноту и тяжесть выражений)».

(*Сент. 17 и 18-го 1855 г.*). «Классы В. И. Григоровича (по славянской палеографии) очень занимательны, так что даже и из других отделений студенты, хотя незаконно, приходят слушать его; священники, которые ходят на раскольническое отделение, тоже все слушают Григоровича. А о. Тихон, кладбищенский священник, который уже целый год слушал раскольнические лекции, выпросил дозволение у о. Феодора ходить и на его лекции, несмотря на то, что ему будет уже лет под сорок.

О<тец> Григорий читает о кн. Псалтырь — именно толкование псалмов подряд, сколько можно судить, — в духе и силе

---

* Казанцев — викарий Казанский, скончавшийся епископом Енисейским.

о. Феодора; вероятно, его лекции. Никакой журнал не отказался бы поместить на своих страницах такой разбор, если бы это был разбор не духовного, а какого-нибудь светского поэтического произведения*. О<тец> Феодор был короткий приятель Гоголя, его почитатель; он написал статью о нем и возил ее на цензуру к митрополиту Филарету. Интересно было бы почитать, если бы он ее да напечатал».

(*25 сент. 1855 г.*). «На другой день»[44] (Сергиев день, приходившийся в 1855 г. в воскресенье) «в 9 часов поехали мы с о. Серафимом в Спасский монастырь. Там министр» (мин. народного просвещения А. С. Норов) «обещался стоять обедню; служил сам Преосвященный» (Преосвящен. Никодим — викарий Казанский, который и жил там, как и все викарии Казанской епархии, управляющие Спасским монастырем), «о. Серафим, о. Феодор, инспектор семинарии — иеромонах Иннокентий и о. Варсонофий. Но и здесь только ждали Его Превосходительство, а он не приехал. После обедни, на молебне случилась довольно смешная вещь: какой-то дьякон, по старой привычке вероятно, вместо того чтобы помянуть на эктении[45] епископа Никодима, рявкнул: "Никодима архиепископа!" Преосвященный, хотя негромко, но так, что довольно далеко можно было слышать, сказал: "Епископа". О. Феодор засмеялся».

(*Окт. 8 и 9-го 1855 г.*). «Нерадостную новость сообщу вам ныне: о. Серафим уже не о. инспектор наш! Он переведен ректором в Симбирск. Но мы не остались без инспектора: вчера пришла об о. Серафиме бумага из Св. Синода, тою же самою бумагой в инспектора нам определен о. Феодор. В Академии старшие студенты, у которых живо воспоминание о временах бывалой вольности, и некоторые из младших, особенно тяготившиеся стеснительными мерами, от души рады этой перемене; другие боятся, способен ли будет о. Феодор, с своим созерцательным характером, управиться с такой семейкой и, при случае, отстоять пользы студентов. Да! скоро, я думаю, увидят, на ком держался в Академии порядок. Ныне в 11 часов о. ректор приводил к нам в класс нового о. инспектора; сказал речь о наших обязанностях к нему, а потом мы пошли в номера и о. ректор провел о. инспектора по комнатам; здесь мы приняли благословение у нового о. инспектора. В классе (у о. Феодора

---

* Изъяснения пророческих псалмов еще не напечатаны, кроме изъяснения второго псалма, которое напечатано в «Прибавл. к твор. Св. Отцев» за 40-е годы.

был ныне класс) он говорил что-то о своем будущем управлении, только — по обыкновению — очень тихо; а кажется, как говорят, известно, что он будет смотреть не на форму, не на внешность, но на дух; словом, говорил против фарисейского направления; упомянул, что будет употреблять и бич. Но много еще будет можно писать о будущем управлении; вероятно, много интересного будет сказано, сделано и произойдет».

АРХИМАНДРИТ ФЕОДОР — ПРОФЕССОР И ИНСПЕКТОР

«О. Вениамин выдал словесную декларацию, что он всячески будет поддерживать старый порядок вещей; о. Феодор смотрит на свое избрание как на особое призвание Промысла. День, в который он принял присягу и был представлен нам, случился ровно через год после того, как он говорил здесь первую лекцию».

(*Окт. 15 и 16-го числа 1855 г.*). «У нас идет во всем прежний порядок; это подтвердил сам о. ректор»; и (подтвердил то требование, чтобы во всем поддерживался порядок, бывший в инспекторство о. Серафима) «о. Вениамин обещается держаться за старые порядки обеими руками, и — действительно — удвоил свою бдительность» (о. Вениамин в то время продолжал еще отправлять должность помощника инспектора); «о. Феодор живет еще в монастыре (говорит, завтра переходит); но уже остановил покушение студентов записываться и по четвергам до 8 часов. Именем нового о. инспектора сделано одно только новое распоряжение: у нас на утренней молитве прибавлены тропари[46] Казанской Божией Матери и Бесплотным Силам» (Академическая церковь посвящена архангелам и ангелам).

(*Окт. 22 и 23-го 1855 г.*). «Вы пишете, что мы, кажется, не очень довольны, что о. Феодор намерен водворить у нас вместо формы владычество духа. Нет, от души желаю, чтобы введенные формы прониклись благим духом, которым глубоко проникнут о. Феодор. И студенты скорее радуются вступлению о. Феодора, потому что надеются уничтожению несносной для них формы, надеются бóльшей вольности, послабления в управлении. А я, как выражал Вам это в прошедшем письме, боюсь именно этого же послабления, — чтобы с возвращением этой вольности не возвратился прежний дух вольномыслия, дух Гегелевой философии, подавленный строгостию о. Серафима. Вот чего я несколько опасался; но, кажется, никакой резкой

перемены не будет. На этой неделе о. Феодор ходил по комнатам, в первый раз с о. Вениамином. По вечерам бывал на молитве, вчера был в столовой. Обратил внимание на то, что студенты ходят по коридору во время занятных часов; обратил внимание на то, что у нас нехорош хлеб. О. Серафим перед отъездом особенно просил его наблюдать за столом студентов; у него часто из-за стола нашего были споры с о. экономом [47], как это мы узнали уже после».

В объяснение такого моего страха, как бы не возвратилось гегелианство и неверие, скажу, что он возбуждался рассказами из времен V курса, — т. е. когда студенты старшего курса были еще в младшем [48], — о нескольких случаях полнейшего неверия, соединенного с возмутительным лицемерием напускного благочестия. Такие печальные явления в академической жизни развивались тогда именно благодаря инспекторству монаха глубоко благочестивого, но вовсе не понимавшего жизни, архимандрита Паисия. Очень естественно было с моей стороны опасаться возвращения этого времени и в инспекторство о. Феодора, тоже человека не от мира сего. Продолжаю выписку:

«Я вам писал в прошедшем письме, что о. Феодор прибавил у нас два тропаря на молитве утренней. Недавно он обратился к старшему дежурному с вопросом, почему же это не читают их? ему ответили, что читают поутру. “Ах, — как же это, — сказал он, — вот отец-то Вениамин слышит их, а я и не буду иметь этого утешения; уж чем же я виноват!” Такой удивительный!».

«Митрополит, в проезде о. Феодора» (через Москву), «дал ему служителя — великана, который и живет теперь здесь, в Академии; Преосвящ. Филарет, должно быть, любит о. Феодора».

(*Октября 29 и 30-го 1855 г.*). «Новый о. инспектор посещает нас нередко и в номерах, и в столовой, а на вечерней молитве бывает почти каждый раз. Перемен в управлении никаких нет. При посещении номеров о. Феодор иногда говорит с студентами о предметах их занятий».

«По приходе своем» (из города, после отлучек, на которые каждый раз испрашивалось разрешение инспектора в книге; так и говорилось: записываться в город), — «по приходе своем студенты являются ныне не к о. инспектору, как это бывало прежде, а к о. Вениамину. О. Феодор, говорят, принимает очень ласково: когда один студент, по обыкновению, остановился было в его прихожей, он взял его за руки и ввел в залу, говоря: “Вот уж и видно, что — дитя закона!”».

(*Ноября 12 и 13-го 1855 г.*). Воскресенье, после обедни. «Вчера за всенощной и ныне за обедней я, как мне следовало по очереди, стоял в алтаре; ныне служил о. Феодор. Что это за человек! — смирение его выходит из границ общественных приличий; ему подашь книгу, а он тебе хочет кланяться. Об внешности своей он вовсе не думает: всегда растрепанный, постоянно о чем-то думает и забывает, что ему следует говорить и делать; ряска его из самой бедной шерстяной материи, толстая и редкая. Одним словом — престранный человек! На днях он вздумал посетить больницу и просидел там два часа — в разговорах с больными. Правда, при этом он принес одному из больных план для его курсового сочинения и долго толковал с ним об этом предмете».

(*Ноября 26 и 27-го 1855 г.*). «На этой неделе все умы нашей Академии были заняты одним происшествием. Некто из старших студентов сделался виноват». (С такой дипломатической неопределенностью выражался я даже в письмах моих домой; мне не хотелось даже и своим родителям сказать прямо: попался в пьянстве. Продолжаю выписку.) «О. Вениамин, который при этом был лично обижен им, довел дело до сведения о. ректора; о. ректор велел подавать этому студенту просьбу об исключении; сколько ни просил о. Феодор о снисхождении, о. ректор оставался неумолим, несмотря на то что этот студент был один из самых любимых его учеников и из самых даровитых. О. Феодор предлагал о. ректору, что лучше он подаст просьбу об увольнении, так как он считает себя некоторым образом причиною этих неустройств. Студенты были до высшей степени раздражены против о. Вениамина, который хотел поддержать прежнюю строгость*, между тем как о. Феодор хотел дать свободу студентам. Потому ли, что о. Вениамина поддерживал о. ректор, потому ли, что о. Феодор вовсе неспособен к действительной жизни, но только направление о. Вениамина торжествовало. Недавно, например, студенты просили о. Феодора об одной льготе — именно о позволении отлучаться без особого

---

* В предшествовавшем году был аналогичный случай, когда безумные слова пьяного студента относились к самому инспектору, лично присутствовавшему при заключении буяна в карцер, а заключенный лез к о. Серафиму с пьяными объятиями и нежностями. Правда, то был студент, можно сказать, только что принятый в Академию: история разыгралась в академический праздник — 8 ноября; этот не ко двору оказавшийся новичок немедленно же удален был из Академии.

разрешения в город до 6 часов; и о. Феодор уже был согласен на это, только хотел поговорить с о. ректором; но на другой день он объявил, чтобы просили о том о. Вениамина; публично признался он старшим, что он инспектор только номинальный. Потому-то и на настоящий случай о. Феодор смотрит как на следствие "столкновения двух начал" и считает себя причиною этого расстройства *. Много и успешно утешал он студента, которому объявлено было исключение; но наконец, по просьбе самого о. Вениамина, о. ректор отменил свое решение. О. Феодор ужасно страдает духом от этих неустройств; по его выражению, "распинается, в гроб кладется". О. Вениамин тоже очень тяготится общим неудовольствием: "И те, которые прежде меня уважали, — говорит он, — теперь глядеть на меня не хотят; чай, уж сам Лаврский — и тот на меня сердится". Так вот как изменились дела наши после о. Серафима. О. Феодор утешает себя тем, что брань на земле необходима: "Даже и между святыми-то, — говорит он, — пока они на земле, так все идет война; ведь вот, например — Филарет; ведь уж святой; чудеса творит [49]; я сам был свидетель; а ведь как иногда ударит духовным-то мечом! еще нынче это реже; а прежде так и очень часто"».

«О. Феодор, говорят, решительно подал просьбу об увольнении; жаль, если он выйдет и нам не придется послушать его!»

(*Декабря 4-го дня 1855 г. Воскресенье*). «Говорят, о. ректор уехал в Седмиозерную пустынь принимать дела от игумена; вот уже третий день как нет его; потому ныне служил у нас о. Феодор. Когда о. Феодор ходит по комнатам, он иногда смотрит у студентов сочинения и высказывает свои мысли о предмете рассуждения. И у меня вот уже два раза смотрел он сочинение, заметил на один пример, взятый мною из истории русской литературы, что моя мысль едва ли верна. (Я и сам видел ее неверность, но не мог без нее обойтись; да и вообще, я редко пишу сочинения согласно с своим убеждением: большею частию должен писать против убеждения, чтобы не противоречить взглядам наставника.) Затем о. Феодор привел одно место из переписки Гоголя с друзьями. И старшие студенты признаются, что чрезвычайно трудно понимать о. Феодора, понять связь его мыслей».

Счастье о. Феодора, что он не мог знать этих признаний студента Лаврского! Каким огорчением было бы для него узнать,

---

* По всей вероятности, вина студента обусловливалась какими-нибудь послаблениями в дисциплине, в которых и попался начальству новый инспектор.

что студент при своей умственной работе вовсе не об истине заботился, а только о том, чтобы угодить наставнику и получить оценку своей работы возможно высшим баллом. В то время мне и в голову не приходило, что следовало бы мне стыдиться тогдашнего моего утилитарного взгляда на академическое образование; сказать, что один из студентов попался в пьянстве, — мне не хотелось, совестно было за этого студента; а об себе я с полною откровенностью писал родителям: «Не думайте, чтобы меня занимало и тревожило место в списках; нет — если я чувствую побуждение к занятиям, то это отнюдь не детское желание быть повыше на бумаге и считаться в школе умнее того и того, а разве мысль, что от моих теперешних занятий зависят средства на всю будущую жизнь, зависит самая судьба моя», т. е. пошлют ли меня по окончании курса в одну из семинарий центральной полосы или куда-нибудь в Далматов [50], в Якутск. И вот такая забота о будущем заставляла меня «писать против убеждения, чтобы только не противоречить взглядам наставника». Какая разница с тем, что говорил мне после о. Феодор об отношении Владиславлева к его неудавшемуся сочинению*. О. Феодор только и думал об истине, а я, как Пилат, говорил: «Что есть истина?» [51], стоит ли из-за нее распинаться?

«Ото всенощной я прошел к о. Феодору — попросить позволения его идти завтра к обедне в собор. О. Феодор сказал мне: “С Богом!” — потом заговорил опять о моем сочинении, потом о литературе, русской и западной; говорил, что “Запад имеет еще некоторое оправдание себе в своей истории; а мы, по своему развитию историческому, совершенно безответны в дурном направлении нашей литературы. Идея в произведении есть мысль Бога-Слова; оттого-то она и бывает прекрасна. Когда эту мысль рассматривают отвлеченно — будет философия, а когда воплощают ее в каком-нибудь образе — искусство. Когда литература со Христом — она действует благотворно; но — если не со Христом,— то уж против Него. Конечно, Господь сказал и то, что — кто не против Него, тот за Него [52]; но это Он сказал о тех, которые действуют хотя и разногласно между собой, но все-таки во имя Христово. Когда смотрят на мысль Бога-Слова, тогда произведение бывает прекрасно даже и в том случае, когда берутся предметы низкие, черные, потому что любовь-то Божия всюду за нами идет, все стараясь привлечь нас”. Тут он привел в при-

---

* См. «Богослов<ский> вестн<ик>», июль 1905 г., с. 512 <наст. изд., с. 150>.

мер своего Гоголя. “Иногда, продолжал он, писатель может и бессознательно воплощать идею Христову; но ведь уж мы — христиане, так мы должны сознавать это”. Мне давно уж, сказал он в заключение, хотелось поговорить с вами, и тут он дал мне совет: все приводить ко Христу. “Я вам скажу собственный опыт, — говорил он, — когда я слушал науки, я все, както по инстинкту, прилагал ко Христу; ну и пока еще слушаешь, так это — так неясно, темно; а как уж всю-то науку узнаешь, так тут и увидишь, чтó нужно принять, чтó — откинуть; так она и перейдет на это новое-то основание — на Христа. Ведь любовь-то Божия вся во Христе; Бог все любит во Христе; чего нет во Христе, что совершенно чуждо Христу, на то не простирается и любовь-то Божия». Вот вам обращик воззрений о. Феодора. Не знаю, поймете ли вы что-нибудь в моем перечне только главных его мыслей. Я, когда слушал его самого, так и тогда не всегда понимал связь его мыслей, а иногда решительно не понимал его. От самой всенощной он говорил со мной до столовой, да и во время столовой — почти до окончания ее, так что уж я ужинал за вторым столом. Обыкновенно он говорит со студентами, ходя по своей гостиной и держа студента под руку; точно так же и у меня одну руку он держал в своих руках и мял ее; иногда, в пылу разговора, останавливался и хватал меня за руку; чем больше он говорит, тем больше воодушевляется; чтобы вам получить понятие об его исступленном разговоре, — представьте себе, как говорит человек в сильном гневе или испуге. Таков наш отец Феодор».

Хорошо, что новый Беда-проповедник не видел, какой глухой и немой камень был тогда перед ним[53] в лице студента Лаврского, с которым ему так «давно уже хотелось поговорить». Не вдруг настало время, когда от камня послышалось ответное: аминь!

(*Декабря 10 и 11-го 1855 г.*). «О. Феодор, который теперь вместо о. Серафима до приезда о. Диодора читает нравственное богословие, и тут высказывается весь с своим самостоятельным взглядом, несмотря на то что теперь идет повторение. Недавно, говорят, он читал в классе свое сочинение о праздниках, изложенное в виде писем; в нем он рассматривает таинственное значение праздников для души христианина — праздники в душе. Вот такие бы статьи печатать в “Православном собеседнике”! Очень жаль будет, если нам не удастся послушать о. Феодора!»

Это те самые письма о двунадесятых праздниках, которыми начинается сборник статей о. Феодора, носящий заглавие «О православии в отношении к современности». Конечно, нельзя

было и думать о напечатании этих писем в новом академическом журнале, при известном всем умственном складе высокопреосвященного Григория, архиепископа Казанского. Памятником прямолинейности его мышления остались его «Истинно древняя и истинно православная Церковь», в области полемики противостарообрядческой, и «День святой жизни», в области христианской морали[54]. Если правда — носившийся в Академии слух, что цензор «Православного собеседника», член академической конференции прот. А. Н. Иорданский, не пропустил монографии об Ап. Павле «за темноту и тяжесть выражений» (см. выше, под 4 сент. 1855), то письма о дванадесятых праздниках для местной духовной цензуры и для издателя журнала в лице о. ректора Академии Агафангела должны были показаться сугубой тьмой (Мф. VI, 23).

(*Декабря 18-го. Воскресенье. 1855 г.*). «Вчера через старшего дежурного после ужина получил я извещение, что о. Феодор желает, чтобы я ехал с ним в собор к обедне» (в качестве его митродержца — обязанность, которую в академической церкви исполняли все студенты младшего курса по очереди, а при служении академических архимандритов вне Академии — по особому их приглашению). После нескольких замечаний относительно служения литургии и молебна, я продолжал писать: «По возвращении о. Феодор пригласил меня пить чай, и я выпил стакан с миндальным молоком. Он обращается с студентами, как с посторонними посетителями; так, например, сам он сел на диван, а меня усадил в кресло. В заключние он поблагодарил меня и просил засвидетельствовать Вам его почтение».

(*1856 г. Генваря 3–5-го дня*). «Отцу Феодору отказано в увольнении до окончания курса; но это очень неутешительно, потому что по окончании учебного года он, конечно, подаст еще просьбу и оставит нашу Академию».

(*1856 г. Генв. 11 и 12-го*). «В воскресенье же, кажется, о. Феодор сделал у нас некоторые новые распоряжения; именно — чтобы читали две кафизмы[55] на всенощной, или если одну — то всю, а не по одному псалму на “славу”; было принято последнее — чтобы избрали несколько постоянных чтецов из старших и младших студентов, а прочие младшие студенты станут ходить в алтарь; я причислен к чтецам, которых избрали 5 человек».

(*1856 г. Генв. 20–22-го*). «Отец Феодор, когда ездит куданибудь служить с Преосвященным, берет с собой В. И. Калату-

зова. Раз как-то Калатузов вызвался с ним служить в Казанском монастыре, и с тех пор он уже сам назначает его. После обедни, когда сам приезжает домой, поит его чаем и потчует, как будто дорогого гостя. Что это за о. Феодор! как он обращается с студентами! Нет, очень жалко будет, если он выйдет, — тем больше что никакой резкой неблагоприятной перемены в Академии, которой опасался было я с его поступлением, не видно. Недавно о. Вениамин жаловался было о. Феодору, что старшие студенты на время классов остаются в комнатах; о. Феодор просил его нестрого смотреть на это, потому что у студентов так много дела».

(*1856 г. Генв. 29-го ч<исла>*). «В. И.» (Виктор Ив. Григорович — профессор Казанского университета, известный в свое время славист, читавший в то время и в Казанской академии лекции о славянских наречиях) «В. И. приглашал к себе для занятий ходить по четвергам. Заметьте, что ныне уже и по четвергам студенты увольняются до 8 часов».

«Ныне в 7 часов у нас была всенощная (завтра Трех Святителей) — не для всех, а только для желающих; а завтра будет обедня — очень ранняя — в 6 часов с половиной; я был в алтаре, не по очереди, но за недостатком людей; о. Феодор выходил на величание; завтра служит он же».

(*Февраля 4 и 5-го*). «Служба у нас началась почти тотчас же после молитвы — без четверти в 7 часов; служил о. Феодор; за обедней были только несколько певчих и еще человек пять желающих; я был в алтаре; о. Вениамин наградил меня просфоркой, а о. Феодор велел дать с своей стороны, так что я одну разделил уже между студентами. Обедня и с молебном отошла в половине 9-го, т. е. когда наши наставники только приходят в класс; но мы отправились не в класс, а в столовую, где для нас все еще поддерживался кипящий самовар. Итак, у нас в понедельник был как будто праздник».

Таким-то образом в академическую жизнь, вопреки строгости о. ректора и по некоторому попустительству о. Вениамина, где по состраданию к науке, где по благоволению к благочестию — прокрадывалась струйка индивидуальности: то студент — такой образец аккуратности, как Лаврский, опустит два урока греческого языка и один урок еврейского, чтобы к сроку переписать сочинение, то целая кучка студентов-добровольцев церковной службы пропустит первую лекцию за самоваром, с ведома начальства. Не будь это такое небывалое, немыслимое при о. Серафиме нарушение безотрадной регулярности академиче-

ской жизни, разве нашлись бы охотники между студентами отстоять всенощную и обедню в понедельник? а тут — все же «как будто праздник».

«Ныне у нас расписываются и до 9 часов; без затруднения увольняются и от обеда, как, например, ныне Калатузов. Мне очень приятно бывает смотреть на этих людей, как он прибежит — разряженный, раскрасневшийся, как опаленный, с лицом, на котором удовольствие приятно проведенного вечера не успело еще улечься; так и видно еще, что он сейчас только прыгал или вертелся в каком-нибудь танце».

(*1856 г. Февр. 11–13-го*). «Вместо о. Григория» (который был болен), «в следующую середу к нам придет о. Феодор, станет учить нас, как должно сочинять проповеди; с недели Мытаря и Фарисея[56] мы проповеди представляем уже не Ивану Яковлевичу» (Порфирьеву, бакалавру словесности), «а о. Феодору; вероятно, так ему самому захотелось; да так бы и следовало, кажется, чтобы проповеди представлялись инспектору, потому что в них волей-неволей, а уже все более или менее студент выскажется, если только не спишет слово в слово. Я очень рад этому случаю; кто знает — быть может, нам не приведется в старшем курсе послушать его. А замечательное сходство между идеями о. Феодора и идеями Гоголя: ныне мы читали его переписку с друзьями: при этом старшие студенты беспрестанно поражались удивительным сходством между идеями и даже выражениями того и другого. Известно, что они были коротко знакомы; но — кто из них у кого заимствовал этот дух и взгляд? — Невероятно было бы думать, что духовный от светского».

«О. Феодор нашел себе христианскую игрушку: это — пятилетний мальчик, сын нашего повара; он обедал с о. Феодором; о. Феодор бегает с ним по комнатам; примеривает на него свой клобук. На этой неделе о. Феодор дня на два уезжал в Свияжский монастырь[57]».

(*1856 г. Февр. 18 и 19-го*). «В среду вместо о. Григория был у нас о. Феодор. Но наперед должен вам сказать, что во вторник вечером о. Феодор прислал новое, свое расписание проповедей; прежде нам было назначено по две проповеди во весь год; одну уже я сказал, другую должен был писать на неделю Крестопоклонную[58]; теперь о. Феодор расписал всех студентов на Великий пост; каждую середу и пятницу у нас будет служба; классов не будет; за каждой обедней проповедь. По этому новому расписанию мне назначено говорить проповедь в субботу на 1-й

неделе Великого поста — следовательно, пред причащением. Каждый студент, прочитав Евангелие или положенное чтение из Ветхого Завета и обдумав избранную им тему, должен прийти за советом к о. Феодору. Теперь вам и понятно будет, почему в середу о. Феодор говорил у нас о проповедании слова Божия; он показывал начало и основание проповедования вообще и особенные нужды нашего времени, к которым должны быть направляемы речи проповедника. Говорит он хорошо, увлекательно и даже — пожалуй — ясно; понимаешь каждую мысль и связь их, и ход его мыслей; но если спросишь себя по совести, то должно признаться, что самую сущность его учения понимаешь очень мало! Слишком высок его взгляд; он говорит, как пророк.

Как я рад, что мы весь пост будем ходить к преждеосвященным[59] обедням! Еще ни один пост этого для меня не бывало; спасибо о. Феодору, что он решился привести в исполнение это синодское распоряжение, которое нигде не исполняется. Напротив, мне не совсем приятно, что проповедь назначена мне в такое время, когда не следовало бы заниматься посторонними предметами; как бы то ни было, а все-таки более или менее она станет развлекать меня. О. Вениамин говорил мне, что он тоже представлял о. Феодору о том, как затруднительно для меня назначение проповеди пред причащением; но о. Феодор сказал, что пусть он (т. е. я) поставит себя в такое расположение духа, чтобы его проповедь служила назиданием не только для других, но для него самого. Впрочем, и в самом деле — проповедь не будет для меня большим затруднением: о. Феодор разовьет мои мысли, я напишу ее пораньше и сдам с рук; а произношение — дело неважное».

«В субботу вместо о. Григория у нас был опять о. Феодор, читал свои лекции о пророчестве Исайи; он ведь в Московской академии преподавал Св. Писание. И в этих лекциях выражается созерцательный дух о. Феодора, дух посланий Св. Апостола Павла. Кажется, и для учения, и для всей жизни о. Феодора можно выбрать эпиграфом: *живу же не ктому аз, но живет во мне Христос*[60]; он все видит во Христе, объясняет чрез Христа, все относит ко Христу — и в мире, и в действиях христианина. В середу на масленице он опять будет у нас вместо о. Григория».

(*1856 г. Февр. 25 и 26-го*). «В середу у нас опять был в классе о. Феодор; а вечером всенощная и в четверг обедня». (Это были середа и четверг масленицы.) «В четверг после обедни я ходил к о. Феодору — спросить его советов о проповеди. Я было обду-

мал уже себе и тему, написал было и даже “расположение” *; намерен был только просить утверждения. Но лишь только узнал о. Феодор — на какой день мне назначена проповедь, тотчас начал говорить сам, как будто это уже было у него давно обдуманное и решенное: вы напишите проповедь из слов Христовых, сказанных Им после того, как Он преподал иудеям учение о таинстве Евхаристии[62]: “Глаголы яже Аз глаголах вам, дух суть и живот суть” (Иоан. VI, 63). И потом он начал излагать учение о духе и силе таинства причащения. Долго говорил он; но я очень плохо его понял. “Понимаете ли вы?” — спросил он. — “Едва ли понимаю, Ваше Высокопреподобие!” — “Да как же тут не понимать!” — и он снова говорил еще столько же. Между тем его еще до моего прихода просил к себе зачем-то о. ректор; он умывался, одевался и — все не переставал говорить. Наконец я попросил позволения записать слышанные мною мысли и потом показать ему, чтобы он видел, так ли я его понял; о. Феодор одобрил такое намерение. При прощанье он спросил о Вашем здоровье, просил Вам написать его поклон и — то, что сам он все не очень здоров и просит молитв Ваших».

«Ныне, в субботу, я был у обедни — на кладбище». (Это была ведь масленица: лекций не было.) «А после обедни я отнес о. Феодору его мысли, записанные мною почти машинально. “Вы поняли отчасти, — сказал о. Феодор, — но — до завтра; сперва уж вот надобно это”, — и он указал на лежавшую перед ним проповедь к завтрашнему дню. Однако он долго, около часа, говорил мне о *духе* вообще; и признаюсь — опять я очень мало понял. Право, не знаю, как вам и объяснить: чего именно не понимаешь у о. Феодора; кажется — все понимаешь, а выходит, что не понимаешь ничего. Старшие студенты говорят, что они уже начали понимать его мысли, насколько это возможно, насколько он находит для них выражение в словах. При этом, кажется, частию не понимаешь его и потому, что он не считает нужным пояснять такие состояния духа, которые для него осязательно ясны, потому что он их пережил, перечувствовал, но которые нам не были знакомы. “Войти в дух”, “все основать на Слове”, “сила” — это слова и выражения, которые он оставляет почти без объяснения. Может быть, со временем и мы сколько-нибудь поймем его».

«Нас очень лакомят на масленице»... «Кроме этих домашних удовольствий, студенты имели удовольствия и вне Акаде-

---

* «Расположение» — термин гомилетики[61]: план проповеди.

мии; это — катанье на татарах[63] и театр. Для этого студенты записываются куда-нибудь от 11 до 4 часов, будто на блины или на обед, — и отправляются в утренний спектакль. Вот уже три дня за обедом столовая наша бывает очень пуста; часа в 3 ½ голодные театралы прибегают, пообедают, что оставит им предусмотрительность чередного» (чередного по кухне — студента, который по очереди наблюдал во время обеда и ужина за отпуском порций из кухни). «Некоторые из казанцев уволены на время масленицы к родственникам в город».

(*Воскресенье, после обедни, 26-е число*). Сегодня произнесена была первая проповедь из-под рецензии о. Феодора; но я ныне стоял в алтаре и, к сожалению, не имел возможности хорошенько расслушать ее; впрочем, заметил в ней следы мыслей о. Феодора. Все наши начальствующие теперь уехали прощаться ко Владыке[64]; студенты разбрелись — которые к знакомым, а большая часть в театр. Теперь в комнате мы только двое с Д...; в Академии водворилась мертвая тишина; лишь ветер жалобно воет в форточке. Нет! ужасно не хочется идти к И...м[65]; что ж? ведь не голову снимут, им скажут, что я был у них в пятницу».

Следы показного благоприличия и благовоспитанности, неизбежно переплетающиеся с следами лицемерия, еще свежи: никому из студентов и в голову не приходило — записаться в книге отлучек из Академии открыто: «в театр, на утренний спектакль», хотя о. Вениамин, по всей вероятности, отлично знал, что́ за блины нашлись вдруг в городе у всех студентов; не подозревал ничего один только о. Феодор и очень бы был огорчен всей этой ложью, в которой даже и надобности не было, так как едва ли встретил бы с его стороны отказ в посещении театра — кто прямо и открыто попросился бы в театр.

«После вечернего чая. В 4 часа началась великопостная вечерня; после вечерни о. ректор вышел в мантии и в эпитрахили[66], прочитал отпустительную молитву[67]; сперва о. ректор сделал всем земной поклон, мы отвечали ему тем же; затем о. Феодор сделал земной поклон о. ректору, поцеловались трижды и — о. Феодор опять земной поклон; точно таким же порядком простились с о. ректором о. Вениамин, о. Григорий, о. Диодор, о. эконом, о. дьякон; потом пошли студенты: подходили попарно: каждый делал земной поклон, принимал благословение, целовался трижды, опять целовал руку и, вышедши из ряда на другую сторону, опять делал земной поклон. Потом началась заутреня, посем идоша вси в трапезу и пияху чай:

потом студенты разошлись, кто куда знал; весь нынешний день позволено было выходить без записи. Все монашествующие были у о. ректора, а оттуда отправились к о. инспектору; оттуда, вероятно, пойдут к о. Вениамину и так прославят здесь до ужина, а за ужином... но об этом после. Ныне с нами ужинали о. Феодор, о. Вениамин, о. Диодор, о. эконом, о. дьякон (о. Григорий не ужинал, потому что ему нельзя было кушать ни рыбного, ни скоромного). Они сидели рядом со студентами, за одним столом, им подавали студенческие кушанья. После столовой они нам, а мы им поклонились в ноги и потом студенты подходили поочередно прощаться с каждым из них. Во время этих поклонов студенты пели Пасху[68]. На молитве тоже пропели Пасху. Итак, вот как начинают у нас Великий пост».

(*1856 г. Март, 3 и 4-го*). «Теперь пойдет материя о проповеди. В прошедшем письме я сказал Вам, что о. Феодор велел мне прийти для выправки моего расположения в воскресенье. Но в Прощальное воскресенье решительно было некогда, и потому я пришел к о. Феодору в понедельник, часа в 4. Он пил чай, и мне подали также чаю. Просмотрел он мое расположение, поправил его и благословил писать. Я достал себе ключ от класса и там писал себе свою проповедь в невозмутимой тишине. Во вторник и середу я ее написал, в четверг дописал ее набело и в 5 часов принес ее к о. Феодору. О. Феодор еще в понедельник, рассматривая расположение, разъяснил мне несколько мысли свои; потому-то я и написал так скоро проповедь: мне оставалось только изложить уже готовые мысли и в данном порядке; оттого-то я не замечал, как летело время: от 7 часов до 10, от 4 до 6 часов я просиживал за проповедью, и звонок в церковь не раз прерывал мои занятия. В четверг же принес я проповедь к о. Феодору, чтобы отделаться от нее пред исповедью. О. Феодор велел прийти мне для того, чтобы выправить мою проповедь при мне же. Прочитав ее, он улыбнулся и, по обыкновению взглянув на меня с своим христианским простодушным смехом, сказал: “Чему уподобить вашу проповедь?” — Молчание. — “Уподоблю ее одежде, сшитой из ветхого и из нового; лучше бы, если бы все из нового!” Потом объяснил свою притчу: это значило, что в моей проповеди есть места, в которых виден *дух*, но есть и такие места, которые еще отзываются духом ветхозаветным. Тут, подумав несколько, он начал снова объяснять мне свои мысли, соображаясь с теми местами проповеди, в которых было видно, что я его не понял; и — его мысли предстали для меня в новом свете; конечно, нель-

зя сказать, чтобы я и теперь понял их так, как понимает он сам; но, по крайней мере дотоле, я их не понимал. “Расположение-то обещало больше”, — сказал он. — “Быть может, это оттого, В<аше> В<ысокопреподобие>, — отвечал я ему, — что в расположении я записал только Ваши мысли и Вашими же словами; а в проповеди выразилось то, как я понимал их; Вы понимали их в моем расположении так, как теперь разъяснили мне, а я, как вижу, доселе не понимал их”. Впрочем, о. Феодор остался очень доволен моею проповедью; по крайней мере, он видел в ней покорность ума — искреннее желание усвоить его идеи, а ему только этого и нужно, он этого именно и желает. Потому что, замечая во мне готовность к приятию его направления, он каждый раз почти оканчивает свою беседу общими увещаниями — “вникать в дух и силу всего, все основывать на Христе и все приводить к Нему”; показывает необходимость этого в наше время. — “Кто же станет указывать нам на этом пути, В<аше> В<ысокопреподобие>, если Вы оставляете нас?” — сказал я. — “Ах — батюшка вы мой! ведь силы нет, силы нет!” — говорил он и потом начал говорить о борьбе, которую приходится вытерпливать ему и которая неизбежна всякому, кто решится идти наперекор общему направлению. “Если бы человека два, четыре или хоть восемь человек принимали с отверстым сердцем, тогда бы — дело другое! а то, — продолжал он, — думаешь, что не полезнее ли будет уж и не говорить!..” Пробили звонок к вечерне, а он все еще продолжал говорить об этом; говорил о том, что его наставления не необходимы для желающих следовать этому направлению и о теснейшем духовном единении всех следующих этому направлению, единении, для которого ничего почти не значит разделение местом. Не дивитесь, пожалуйста, что я пишу непонятно о мыслях о. Феодора; это оттого, что я и сам их понимаю часто очень смутно, а большею частию не понимаю вовсе. Если Вы что-нибудь поймете из моих писем, я буду очень рад; впрочем, буду стараться излагать приблизительно к общим понятиям то, что сам пойму несколько яснее. Для образца — вот Вам главные мысли моей проповеди. Проповедь моя — о духе и силе таинства Евхаристии. Сила таинства есть *жизнь*. Источник жизни может быть только в Боге. Принимая Тело и Кровь Господа, мы принимаем в себя жизнь от Бога. *Восприимем же своею верою, и удержим, и употребим в дело этот великий дар таинства*, что мы будем во Христе и Христос в нас; будем жить не своею жизнию, а жизнию Христа, будем жить так, *чтобы у нас вне Христа не было ни мысли, ни желания, ни чувства*. Подчеркнутые сло-

ва — поправка о. Феодора. У меня в этом месте было "ветхозаветное понимание"; я писал, что мы должны соображать свою жизнь с жизнию Господа, жить так, как Он учил словом и примером; а о. Феодор указывает на то, что это не есть дело наших сил, но дело благодати, сообщаемой в таинстве, и — нужно только восприять *верою* эту благодать, тогда она станет управлять нашими действиями; наше дело — только не препятствовать действию благодати. Вторая половина проповеди: дух таинства Евхаристии есть любовь. "Иисус Христос преподает нам Тело и Кровь Свою, в которых неотлучно пребывает и исполнение Божества Его, а Божество и есть сама любовь и существо любви: *Бог любы есть*. Вкушая истинного Тела и истинной Крови Христовой, будем вкушать сердцем и этой любви Его, которая лиется в Его Крови и составляет питательную силу Его Тела". В кавычках — опять все чисто слова о. Феодора. По его учению, в Теле и Крови Господа каждый причастник приемлет в себя *самую любовь*; необходима только *вера*, чтобы любовь эта обнаружилась; без веры она пребывает в причастниках, как семя без развития. Не знаю, поймете ли Вы, что хотел сказать этим о. Феодор; я — больше того, что написал, — не понимаю. Простите меня, что я пишу Вам то, чего не понимаю сам. В пятницу вечером о. Феодор прочитал со мною синаксарь о Святом великомученике Феодоре Тироне и сказал мне, как, по его мнению, можно весьма прилично воспользоваться в моей проповеди этим событием[69]; "но теперь уже вам надобно помолиться, да и — на покой, — сказал он, — а я выправлю и напишу это сам; вы завтра придете часов в 6 и возьмете вашу проповедь вот на этом столе; а я еще в это время буду в постели". Так и сделалось; я в 6 часов поутру взял проповедь, прочитал ее раза три, переписал приписку о. Феодора и произнес. Студенты с большим удовольствием слушают эти проповеди, потому что это все равно, что слушать самого о. Феодора. О. Феодор сказал мне после проповеди усердное "спасибо" *. Не думайте, чтобы проповедь моя отвлекала меня от духовных занятий, приличных этим дням и последним минутам пред таинством; напротив, она дала мне приличное занятие для времени говения и сама составляла приличные размышления пред таинством; это, вероятно, и разумел о. Феодор, когда говорил, что я должен поставить себя в такое настроение духа, чтобы моя проповедь и для меня обращалась в назидание».

---

* Проповедь эта напечатана в собрании моих проповедей под заглавием «Поучения городского приходского свящ.», с. 60[70].

«Попробую объяснить Вам*, что значит совет о. Феодора — все приводить ко Христу. Так, например, у нас в науке говорят, что "человеку прирождены идеи", т. е. что всякий человек имеет в себе некоторые понятия, например: об истине, о красоте, о добре и зле, о Боге, — а не то, что эти понятия выдуманы были людьми. О. Феодор приводит эту истину ко Христу. Он говорит, что идеи действительно прирождены человеку; это образ Божий, по которому создан всякий человек, а совершеннейший образ Божий есть Христос: *бе свет истинный, иже просвещает всякого человека, грядущего в мир* (Иоан. I, 9); это сказано об Иисусе Христе. Другой пример, из жизни. У нас недавно была проповедь о посте; разумеется, проповедь вся из мыслей о. Феодора. Он велел взять текстом, как ученики Иоанна Крестителя спрашивали Иисуса Христа, почему фарисеи и они постятся, а его ученики не постятся? на что Господь и отвечал им, что, когда отнимется от них жених, тогда и они будут поститься[71]. Из этого текста о. Феодор показывал три рода поста: пост фарисейский, когда постом думают угодить Богу, пост учеников Иоанновых, когда постятся для укрощения страстей, и пост учеников Христовых, когда душа христианская постится потому, что хочет наказать себя лишением удовольствий за то, что она неверна была жениху своему Христу, оскорбляла Его своими грехами. Одним словом, все, что делают люди по разным причинам, надобно делать так, чтобы иметь в виду Христа. Христианин всего себя обещал Христу и, когда делает что-нибудь не для Христа и при этом считает себя совершенно правым, — думает, что так и следует делать; то это уже, по мнению о. Феодора, есть отступничество от Христа, идолопоклонство, только свойственное нашему времени».

«Его Прохор (см. выше — под числом 11–13 февр. 1856 г.) постоянно живет у него, обходится с ним совершенно как сын, так же шалит, так же вольничает, так же предупредителен ко всем желаниям о. Феодора, как обыкновенно маленькие дети. Годами он будет, должно быть, немного поменьше нашего Л.» (лет 4-х)[72], «но смышлен не по-детски. О. Феодор снисходителен к нему, как самая нежная мать; часто Прохор приступает к нему с разными требованиями, а еще чаще с потчеванием во время самых трудных богословских разговоров; но о. Феодор только ответит ему или исполнит его просьбу, а никогда не

---

* Эта тирада письма обращена была, собственно, к моей матушке; оттого это усиленное старание обходиться при изложении самыми общеупотребительными выражениями.

отошлет его от себя; и — странное дело! — как это он его не сбивает! — нет; никогда! “Кого ты больше любишь? — спрашивал я Прохора, — своего отца или лехтора?” (так он зовет о. Феодора; у него пять лехторов: двое в очках, — о. ректор да о. Вениамин, — да двое без очков — о. Григорий и о. Диодор, — да о. Феодор) — “Отца лехтора”, — отвечал он».

Прохор — или, как его звали все, — Прошка, собственно, никогда не жил у о. Феодора, а это то, что называется «житмя-жить», жил он с своим отцом-вдовцом, инспекторским поваром, в инспекторской кухне; но беспрестанно по винтовой чугунной лестнице пробирался он из подвального этажа академического здания, где помещались все кухни, снчала в буфет в нижнем этаже, а потом и в инспекторскую квартиру и здесь бродил, как котенок, по всем комнатам, такой же чумазый, такой же оборванный, как и у отца в кухне.

(*1856 г. Марта 10 и 11-го*). «У нас каждую службу бывают проповеди… о. Феодора; пишут их студенты, но о. Феодор большею частию так переправляет их, что его письма́ в проповеди часто выходит больше, чем студенческого. Поэтому все слушают эти проповеди с большим удовольствием. По середам и пятницам проповеди бывают на чтении из Кн. Бытия (паремии на часах [73] в Великий пост), «так, например, из того чтения, в котором говорилось о начале городской жизни и искусств в племени Каина [74], у нас была превосходная проповедь об истинной цене развития человечества в мирском отношении, о том, насколько нужно и полезно занятие искусствами и заботы о внешней обстановке жизни».

(*1856 г. Марта 17 и 18-го*). «И о. Феодор купил для своего Прокофия (а не Прохора, как я писал Вам; я был обманут его словами, потому что он на вопрос, как зовут его? — отвечает обыкновенно: «Пронькой») — так и о. Феодор купил для своего Прокофья азбуку, и он уже знает довольно много букв».

(*1856 г. Марта 25-го*). «У нас ныне обедня отошла довольно поздно, потому что служил о. Феодор».

(*Марта 30-го*). «О. Феодор тоже нездоров».

«За преждеосвященными обеднями у нас из посторонних никого почти не бывает; а вчера за всенощной так было очень много, так что о. Феодор помазывал елеем до самого конца канона». «Великий Канон читали у нас не на четверг [75], а в четверг вечером, за всенощной на пятницу; читал о. Феодор и, во уважение нашей нетерпеливости, читал так, что не после каж-

дого тропаря пели: “Помилуй мя, Боже, помилуй мя!”, а через 4, через 3 и через 5 тропарей».

(*1856 г. Марта 31-го и 1 апр.*). «Лекции о. Феодора по Свящ. Писанию проливают новый свет на пророчества, в них мы имеем то, чего обыкновенно недостает у других преподавателей: ученое исследование не заслоняет нравственного приложения; о. Феодор объясняет пророчества не столько по отношению к ветхозаветным временам, сколько по отношению к душе христианина; *не им самем, но нам служаху сия* (1 Петр. I, 12) — вот его главная мысль. Эх! — как жалко, что мы не будем слушать его!» (Что говорилось о лекциях о. Феодора о пророках, относится к лекциям, которые читал нам не сам о. Феодор, а о. Григорий). «Он непременно оставит нас! Его было назначали ревизором в Вятку, но он отказался. О. Вениамин назначен ревизором в Уфу. Ему не вовсе отказано в профессорстве, а — напротив даже — при окончании курса Владыка велел представить его; соображая, что Преосвященный сам может дать экстраординарного профессора, заключают, что, по всей вероятности, с удалением о. Феодора и с получением профессорства о. Вениамин получит и инспекторство». «О Вениамин назначен ревизором и в Вятку вместо отказавшегося о. Феодора».

(*1856 г. Апр. 8-го*). «На этой неделе захворал у нас наш бакалавр словесности Ив. Як. Порфирьев, и этому случаю мы обязаны были удовольствием послушать о. Феодора; он занимал у нас вместо Ив. Як. два класса и читал свои письма о Гоголе к самому Гоголю. Видно было, как затруднялся он, желая объяснить такую форму своего сочинения и с тем вместе не желая признаться, что эти письма в самом деле были писаны к Гоголю». Я и теперь не знаю, — читал ли сам Гоголь эти письма, и если даже читал, то не читал ли одно только первое письмо[76], которое, по-видимому, одно только еще было написано, когда о. Феодор представлял этот свой труд на суд митрополита*. По форме письма эти, кажется, имели назначние быть «открытыми письмами», нужными прежде всего для нравственного поддержания Гоголя, убиваемого внутренними противоречиями и отношениями друзей, не говоря уже об отношениях более широкого круга его читателей и почитателей; но затем письма эти назначались и для исправления некоторых неверностей бого-

---

* «Богосл<овский> вест<ник>» 1905 г., Ин.[77], с. 523 <наст. изд., с. 159>.

словствующей мысли моралиста-Гоголя. Но для того чтобы поднять упавший дух Гоголя, важно было сделать эти письма именно письмами открытыми; они имели значение апологии Гоголя; они должны были служить голосом стороннего человека в борьбе, завязавшейся из-за «Переписки с друзьями», стороннего человека, понявшего «Переписку» не как отречение Гоголя от прежних верований, а как откровенное признание друзьям, объясняющее внутреннюю, субъективную сторону всей писательской деятельности Гоголя. Сам Гоголь сознательно относился ли так к своим произведениям, как изображает это в своих «Письмах» к нему о. Феодор, — это другой вопрос. Быть может, и о. Феодор понимал, что в своих письмах к Гоголю он изображает с строгой отчетливостью то, что у Гоголя было бессознательно. Во всяком случае, письма к Гоголю для того, чтобы стать его апологией, должны были стать открытыми письмами. И не потому ли, собственно, так огорчила некогда о. Феодора неудача, постигшая это его дело вследствие решительного veto, наложенного митрополитом. Чтó о. Феодор не отступился от своего дела — потому что не было у него своих дел, но всегда и во всем он делал дело Христово, — что о. Феодор не бросил этого дела, свидетельствует продолжение этого дела составлением второго и третьего письма, после уже митрополичьего запрещения. Но о. Феодор мог и не спешить с сообщением своих писем самому Гоголю, мог и не поспеть с своею поддержкой вследствие безвременной кончины Гоголя. Не помню, спрашивал ли я когда-нибудь, по напечатании этих «Писем», о том, читал ли их сам Гоголь или они были напечатаны только как посмертное оправдание Гоголя как мученика своих убеждений и своей двойственности. Продолжаю выписку из письма: «В них» (в своих письмах к Гоголю) «он» (о. Феодор) «только излагает воззрение на мир самого поэта и — все почти собственными словами его произведений; но — то ли в самом деле мысли о. Феодора и Гоголя совершенно одинаковы, то ли он сумел их очень искусно перетолковать, — только, слушая мысли Гоголя из уст о. Феодора, слышишь самого о. Феодора. Впрочем, чьи бы это ни были мысли, их слушать чрезвычайно интересно; это — философия не только христианская, но даже православная. Посмотрели бы Вы, с каким вниманием все слушают его!»

«В середу и пятницу на часах (на 6-й неделе) у нас читали Евангелие; в прошедшем году читали только одно Евангелие; а ныне, так как службы больше и, следовательно, можно было начать чтение заранее, — то о. Феодор расположился прочитать

всех четырех евангелистов. Читает он обыкновенно сам и — очень скоро; в середу прочитал он всего евангелиста Матфея, в пятницу — Евангелие от Марка — тоже все. В пятницу служба шла до часу, а в среду до половины второго; а начиналась, как обыкновенно, в 10 часов.

(*1856 г. Апр. 12-го. Великий Четверток*). «Во время причастия была проповедь (можно сказать — о. Феодора) о том, как удержать спасительные плоды таинства причащения».

«Ныне читали 12 Евангелий: о. ректор, о. Феодор, о. Вениамин, о. Григорий, о. Диодор, о. эконом; служение было торжественное и продолжалось ровно 3 часа. А поутру ныне о. Феодор и о. Вениамин были в соборе, на омовении ног[78]».

(*1856 г. Пасха — понедельник*). «Ныне обедня была у нас в 8 часов; напившись чаю после обедни, я с Д. ходил поздравить Ив. Як.; потом, взяв еще С.[79], отправились к о. Григорию; потом уже я один сходил к о. Вениамину, который давным-давно напрашивался на мои визиты. Хотелось было мне поздравить о. Феодора, но завтра, кажется, уж будет поздно; а он и вчера, и ныне служил в городе; вчера у него были "старшие"; но, говорят, он высказывал желание, чтобы к нему пришли все студенты. (Я похристосовался с ним уже в четверг, встретившись на лестнице, когда он шел к обедне.) В понедельник вечерню и всенощную у нас пели архиерейские певчие, которые пришли было в Академию только пропеть где-нибудь концерт. О. ректор им выслал деньги, только чтобы не пели; у о. Феодора пропели что-то. Но так как это пришлось около 4 часов, а наш регент представил о. ректору, что наши академические певчие охрипли, то о. ректор заставил архиерейских певчих вместо концерта пропеть вечерню и заутреню; а после сказал им "спасибо!" да в придачу заметил, чтобы они не торопились. И это была у нас последняя, должно быть, пасхальная заутреня; хотя о. Феодору и хотелось было сделать, чтобы у нас продолжалась служба всю Пасху, — это почему-то не состоялось».

(*Апр. 20-го — пятница Пасхальной недели*). «По тому случаю, что ныне празднуют Живоносному Источнику[80], у нас вчера была вечерня и заутреня в 7 часов вечера, чтобы лучше могли успеть — кто желает — из тех студентов, которые были уволены на вечер в город. Обедня ныне тоже была в 7 часов; служил о. Феодор; а вечером в 4 часа была вечерня и — последняя (!) пасхальная заутреня. Грустно расставаться с Пасхой! хотелось бы, чтобы она продолжалась еще; но — мы не умеем праздно-

вать»; намек умолчания на какие-нибудь обстоятельства, обнаружившие недуховное празднование.

(*1856 г. 28 и 29 апр.*). «Твою картинку, К.[81], я все еще не отдал Прокофию; я ныне редко его вижу; он уже не живет у о. Феодора; наконец и о. Феодор убедился, что Прокофий мешает ему, и еще перед Страстной неделей Прокофий опять сошел жить в кухню».

(*1856 г. Мая 11 и 13-го*). «Несмотря <на> то что на этой неделе было два праздника сряду, — мы не хотели терять майской недели без рекреации[82], тем больше что в середу дали рекреацию в семинарии; а по нашему замечанию, в прошедшем году у нас всегда давали рекреацию на другой день после семинарской. Отправили в середу, после вечернего чая, старшего дежурного к о. Феодору, чтобы он попросил за нас о. ректора, и рекреация была с вечера же получена. Меня попросил к себе о. Вениамин читать опять перевод Бл. Феофилакта[83], и я просидел у него до ужина и потом опять после молитвы — часов до 10 с половиной. При этом о. Вениамин высказал мне, что о. Феодор обо мне такого мнения,что я большой *формалист* (признаться сказать, мнение о. Феодора очень справедливо! во мне гораздо больше формы, чем содержания!). О. Вениамин говорит, будто он только так заключает из некоторых слов о. Феодора; но я думаю, что о. Вениамин и проговорился именно под влиянием слишком живого впечатления: я думаю, что о. Феодор именно только что перед тем высказал ему такое мнение обо мне, потому что перед тем только был у него о. Феодор и они составляли ведомость о поведении студентов, т. е., конечно, о. Вениамин писал, а о. Феодор подписался; вероятно, при этом-то случае и было слово обо мне и о. Феодор высказал свое мнение, тем более что при ведомости в числе студентов, особенно отличных по поведению, было и мое имя».

Знал бы о. Вениамин, как этот самый Лаврский, которого — видимое дело — он только что защищал пред о. Феодором при составлении ведомости, недавно, в предыдущем письме к родным, аттестовал его самого — о. Вениамина! Я писал: «Право! как всегда, прекрасно принимает меня о. Вениамин! — с каким радушием и откровенностью! впрочем, он со всеми откровенен более или менее, потому что — болтлив немного. Но, признаюсь, мне довольно смешно бывает, когда они жалуются мне друг на друга, например о. Григорий на о. Вениамина, о. Вениамин на о. Григория и т. п.».

В это время начались уже со стороны ректора и о. Вениамина зазывания, а со стороны о. ректора и довольно настоятель-

ные увещания меня, 20-летнего юноши, к принятию монашества. Теперь я думаю, что на этот раз о. Вениамин не просто «проговорился», как писал я, а не без намерения допустил эту маленькую измену служебной тайне их инспекторских совещаний; он замечал уже, что я ухожу из-под воздействия их монашеской среды и перехожу на сторону о. Феодора. Здесь и высказалось желание расхолодить отношения мои к о. Феодору разглашением, что он — о. Феодор — не очень-то лестного обо мне мнения.

(*1856 г. Мая 19 и 20-го*). «На этой неделе у нас было две рекреации; одну о. Феодор нам выпросил во вторник; я был у обедни на кладбище: там же был и о. Феодор; после обедни он пригласил меня походить с ним по кладбищу; разделил со мной свою просвирку и часа полтора говорил со мной о поминовении усопших; впрочем, это было только темой, а говорил он большею частию вообще о духе, о том, что не надобно ограничивать ее <так!> одним только буквальным пониманием и исполнением чего бы то ни было; а потом уже — о духе и силе поминовения по усопшим. Говорят, на листе, который представляют при окончании каждого курса наставникам, — с запросом: желают ли они продолжать службу? — о. Феодор подписался ныне, что не желает». (*В четверг на той же неделе.*) «Возвращаюсь я от о. Вениамина, а у нас уж получена рекреация; сначала студенты обратились, конечно, к о. Феодору, но о. Феодор сказал, что ему уж стыдно просить о. ректора; подите, попросите сами и скажите, что я с своей стороны благословляю; о. ректор тоже благословил и...» (далее идет описание того, как я воспользовался этой рекреацией).

«Я Вам давно собирался написать, да еще доселе все не написал; мы ныне усердно поминаем Пасху» (писано было пред отданием[84]). «Как-то раз еще, должно быть в первых числах мая и едва ли не по случаю рекреации, студентам... (некоторые из них были в восторженном состоянии) — студентам не захотелось читать вечернюю молитву; вздумалось помянуть Пасху, и они запели: “Да воскреснет Бог!” Но порядок тотчас был восстановлен, и стали читать, по обыкновению, вечерние молитвы; только, должно быть, это услыхал о. Феодор*, пришел к

---

* «Широкие трубы, которыми тепло расходилось по всему зданию из подземного этажа, где были устроены амосовские печи, делали из академического здания своего рода курьез в акустическом отношении: в нижнем этаже — в квартирах ректора и инспектора — слышно было то, что делалось в самом верхнем, в номерах студентов».

нам на молитву (а уж он не бывал на молитве, кажется, с самой масленицы). И после молитвы велел пропеть: "Да воскреснет Бог!" С тех пор всегда вместо вечерней молитвы поют "Пасху", и о. Феодор не пропускает почти ни одной молитвы. Прежде "Пасхи" поем канон (одни только ирмосы[85]) и потом уже "Пасху", а иногда о. Феодору вздумается, и он велит пропеть еще "Первый час". При этом мне вот что приходит на мысль: какой ужасный ропот поднялся бы, если бы подобное прибавление к молитве велел сделать о. Вениамин или даже о. Серафим! а у о. Феодора никто не вопиет при таких случаях; никто почти не вопиет даже и тогда, как он, например, продерживает студентов в классе лишних полчаса, заговорившись о каком-нибудь предмете. Все его очень любят».

Это желание о. Феодора, чтобы студенты вместо чтения вечерних и утренних молитв пели пасхальные песнопения, пока пение это продолжается в Церкви, т. е. до самого отдания Пасхи, я объяснял себе тогда просто желанием его самому получить духовное удовольствие; теперь же я думаю, что тут была другая причина: услыхав, что однажды студенты сами вместо чтения запели молитву, о. Феодор принял это за указание, что их молодым душам, настроенным более к *благодушию*, чем к покаянному сокрушению духа, каким проникнуты все почти молитвословия Церкви Православной, — больше подходит торжественное пасхальное *пение*, чем монотонное молитвенное чтение, — что в пении может найти себе выражение не только потребность облегчить утомленную над конторкой грудь глубоким вдыханием и широкой волной торжественных звуков, но и потребность собственно-религиозная, тогда как чтение будет выслушиваться или выстаиваться студенческой массой чинно, прилично, но совершенно безучастно и — следовательно — лицемерно. Одним словом, этим распоряжением о возможно широкой замене чтения молитв, требуемого академическим уставом, пением молитвы о. Феодор приводил в исполнение завет Апостола: «Скорбит ли кто из вас, пусть ищет себе облегчения в молитве; благодушествует ли кто, пусть выражает свое настроение в пении псалмов» (Иак. V, 13).

(*1856 г. Июня 1-го*). «Вчера вечером уже после молитвы пришел я к о. Феодору (раньше его не было дома), просить позволения — сходить к обедне». (По случаю дня Ангела — на что увольнение всегда давалось без отказа тем, кто просил о нем.) «Он отпустил с большим удовольствием и посоветовал сходить в Казанский монастырь[86]; но я сказал,что располагался было

идти в Спасский монастырь» (где лежат мощи Святителя Варсонофия[87]), «потому что в Казанском очень много служат молебнов». «И это — хорошо, — сказал о. Феодор, — к Святителю Варсонофию сходите, помолитесь у него; а к Владычице-то все-таки зайдите, помолитесь Ей перед новым-то годом».

«Завтра Нафанаил Петрович* хотел спрашивать всех по билетам, приготовленным для экзамена; можете понять, какой ужас возбуждало во всех такое намерение: отвечать Нафанаилу Петровичу — не то, что отвечать на экзамене, где можно врать сколько душе угодно, лишь бы выходило складно; притом на экзамене отвечаем билеты — каждый из своей части, а тут!.. Все не знали, что и делать. Как вдруг... о, вожделенная весть! — о. Феодор выхлопотал увольнение от классов! Он и вчера просил о. ректора; о. ректор сказал, что уволит на следующей неделе. Но о. Феодор был так добр, что хотел поговорить ему еще, и — вот... кончились классы, кончен младший курс...»

«В среду вечером я пил чай у о. Григория. Рассказывал мне о приеме Владыки. (О приеме академических начальников по возвращении из Петербурга Высокопреосвященного Григория на лето в свою епархию.) «Преосвященный был очень в духе; “Ну, что! — полно блажить-то!” — сказал он о. Феодору, когда дело зашло о его увольнении, — и о. Феодор, к великому нашему счастию и удовольствию, остается в Академии. По этому случаю его назначают ревизором в Симбирск»... «О. Вениамин подал просьбу об увольнении его от должности помощника инспектора; быть может, он имел некоторые виды на увольнение о. Феодора; увы!».

(*1856 г. Июня 9/10-го*). «О. Вениамин уже предлагал было о. Феодору назначить новых старших, но о. Феодор отклонил такое предложение». Такая странная по всей преждевременности забота о. Вениамина о предназначении на должность комнатных страших студентов, еще не перешедших даже на старший курс, объяснялась, полагаю я, опасением о. Вениамина, что после ваката ему уже не будет никакого резона руководить о. Феодора в выборе страших, так как до наступления нового учебного года просьба о. Вениамина об увольнения его от должности помощника инспектора могла уже получить удовлетворение; а он опасался, что о. Феодор без надлежащего руководства со стороны мог наделать крупных ошибок в выборе старших, прямых и единственных орудий инспекции в поддержании

* Соколов, профессор философии.

дисциплины, в проведении такого или иного направления. Но о. Феодор не очень спешил с установлением этого нового орудия: в начале сентября у меня записано: «Спасибо о. Феодору, что он недельным чередным старшим* делает пока не комнатных будущих старших, а тех, которые оставались в Академии, как это было во время вакации. Мы являлись (после вакации) о. Феодору... Каждого студента после приезда уж он целует, целует, точно родной сын его приехал к нему на побывку».

1856/57 УЧЕБНЫЙ ГОД

(*1856 г. Сент. 15 и 16-го*). «В воскресенье вечером уже после молитвы я был у о. инспектора, который опять взял на себя обязанность сочинять проповеди, которые мы пишем, и он до 11 часов ночи протолковал со мной о проповеди, превозмогая дремоту и усталость. Он дал мне текст из дневного Апостола[88]: *Бог рекий из тьмы свету воссиятн, иже воссия в сердцах наших к просвещению разума славы Божия о лице Иисус Христове*[89], и указал, как из этого текста написать проповедь о том, в чем состоит истинное просвещение. И вот эту неделю провел я за проповедью; вчера вечером отнес и прочитал ему свою проповедь, причем, как обыкновенно бывает, о. Феодор разъяснил мне еще несколько пояснее свои мысли, указал — что именно я не понял у него; впрочем, одобрил и долго после того говорил, ходя по комнате, так что от 8 часов я пробыл у него до половины столовой и ужинал уже за вторым столом. О. Феодор велел мне сделать некоторое прибавление; теперь и оно готово, и я отнесу ему мою проповедь на исправление».

«Ах! если бы Вы знали, как хороши некоторые классы! так бы только слушал и слушал; на них забываешь все и после них на некоторое время становишься как будто иным человеком. Это, во-первых, конечно, класс о. Феодора; он не читает нам "Введение" Преосв. Макария[90]; но, вероятно, потому, что во "Введении" сначала идет опровержение безбожников, и о. Феодор в прошедший класс говорил, должно быть, против безбожия, свойственного настоящему веку, именно против отсутствия религиозного характера в науке, в искусстве, в праве и (это еще будет говорить) в житейском быту. После лекций о. Феодора (и даже

* Лицо, на всю неделю ответственное за всех студентов Академии, а не за один свой №, и являющееся к начальству с докладами и ответами.

увлекательнее их, оттого что слова о. Феодора проникнуты такой глубокой философией, что чрезвычайно трудно следить за ним мыслью), — после о. Феодора следует, бесспорно, поставить класс будущего бакалавра церковной русской истории — Щапова, который только окончил курс. Первая вступительная лекция его была об отношении народности к церковности, вторая — о том, возможно ли и какое возможно развитие в Церкви, и о прагматизме в истории Русской Церкви. Просто так и хочется аплодировать ему, когда он сойдет с кафедры. Только жалко, что и о. Феодора, и Щапова очень трудно слушать; о. Феодор говорит чрезвычайно тихо, а Щапов беспрестанно забывается в своем экстазе и читает чрезвычайно скоро; а в придачу он шепелявый и заика, хотя при чтении и не заикается».

«Воскресенье после обедни. Итак, я ныне проповедовал слово Божие. Проповедь свою получил перед самой обедней; уже совершалась проскомидия[91], а еще о. Феодор читал ее, и мы вместе с ним отправились, он — облачаться к служению, а я — прочитать его поправки».

(*1856 г. 23/26 сент.*). «Неизлишним считаю напомнить Вам, что я теперь лицо должностное — старший чередной. С этой должностью в моей жизни последовали следующие изменения: на молитве стою я назади всех, особо... да, я не писал еще об этом; у нас ныне и по прочтении молитв не скоро еще оканчивается наше домашнее богослужение: о. Феодор вводил понемногу — сначала на вечерней, а потом и на утренней молитве — разные прибавления; так что теперь после молитвы поем: *Небесных воинств Архистратизи... Заступнице усердная...* Догматик того гласа[92], который поется в следующее воскресенье поутру — *Взбранной Воеводе*, а вечером — *Достойно есть* и дневной тропарь, а нередко, по особенной просьбе о. инспектора, который ныне сам ходит большею частию на утреннюю молитву, поем еще ирмосы богородичные: *Отверзу уста моя*. Я дивлюсь только и радуюсь одному: как все эти нововведения не возбуждают никакого ропота или неудовольствия! Да, студенты очень любят о. Феодора... После вечерней столовой и молитвы, записав в журнале, что все было благополучно и кто в больнице, с чередным по кухне отправляюсь к о. инспектору (при этом вчера он дал нам по яблочку. Он нередко это делает; если найдется у него яблоко в кармане — он и отдаст его тому, кто придет под этот раз)».

«О. Феодор опять каждый праздник назидает нас своими проповедями; и что́ за проповеди! А его уроки, что за уроки!»

(Разумеются проповеди, которые на «каждый праздник» назначались студентам, но в которых, как видно из того, что сказано выше о моей проповеди, студентам принадлежало только изложение мыслей о. Феодора.) «Я начал записывать после класса то, что упомню из его слов; но многое не поймешь, иное — только запомнишь, а иное и позабудешь. Только не знаю, станет ли времени и насколько станет моего бедного терпения — продолжать эти записки; а что, если бы довести их до конца! Теперь у меня лежат (в рукописи) некоторые его сочинения, не относящиеся к науке собственно. Перед праздником Рождества Богородицы я просил было у него его "Письма о праздниках"[93] (которые у него начинаются именно с этого праздника); но, к сожалению, у него не было тогда этих писем; впрочем, он обещал, когда они будут у него, дать их мне. (Я слышал о них еще от старших студентов — наших предшественников, которым о. Феодор читал их в классе.) То особенно хорошо в богословии о. Феодора, что у него наука не сухая, бесплодная мудрость, но проникнута и согрета нравственным интересом; каждый трактат служит основанием нравственного правила, и его нравственный вывод вовсе не похож на наклееный бандероль, который, правда, говорит о том, на что наклеен, но не имеет к этому необходимого живого отношения».

(*1856 г. Окт. 6-го*). «Ныне у нас Казанский праздник, обретение мощей Святителей Гурия и Варсонофия[94]. Проповедь ныне была о том, отчего огонь пожара коснулся нетленных останков Казанских Святителей. Не могло этого случиться (говорит о. Феодор в проповеди Аристова*) без особенного попущения Божия, и невозможно, с другой стороны, чтобы Господь восхотел отнять у Святых начаток их небесной славы без особенного на то соизволения самих Святителей. Но как в будущей жизни развивается с особенною силою то преимущественно направление, которое человек получил здесь, на земле, то и у Святит<елей> Гурия и Варсонофия та же любовь к Казанскому краю, которая здесь отличала их, та же любовь, без сомнения, заставила их принести в жертву Правосудию Божию начатки своей славы, в умилостивление Его гнева на грехи, за которые Казани следовало понести наказание. Подражая любви Христовой, они умолили Господа, чтобы Он на них отвратил часть наказания, назначенного их любимому краю; по той же, конечно, любви, мощи великих защитников православия, каковы, например,

* Аристов Ник. Як. — впоследствии проф. Нежинского лицея.

<мощи> Иоанна Златоуста, Афанасия Великого, Николая Чудотворца, разделяют на Западе плен христиан под игом мирского духа преобладания, мертвящей буквы католичества[95]; а с другой стороны, служат несомненными залогами будущего освобождения Запада из-под ига мира сего опять в свободу истинных чад Христовых. Вот вам образчик проповедей о. Феодора. Редко бывает, чтобы они имели риторическую правильность плана: и очень часто они так тесно приспособлены бывают к месту, времени и лицам, что к другим местам неприложимы; такова, например, была прошедшая проповедь, 2-го числа, когда мы праздновали победу православия над царством магометанским — взятие Казани[96]. Проповедь была о том, как мы должны совершать победу над духовным магометанством, которое очень распространено между православными и к которому, говоря по совести, я должен отнести себя. Говоря о различных вероисповеданиях в классе, о. Феодор показывал дух их и силу каждого, которые могут невидимо прирождаться и к тем, которые исповедуют веру христианскую и православную. "А ведь уж Господь-то, — прибавлял он, — будет судить в силе и истине не по наружности, а по духу; кто по душе-то язычник, тот на суде-то Христовом и будет поставлен с язычниками, кто иудей — с иудеями, если католик, протестант — с ними и осудится". Прошедшая проповедь была обращена к тем, которые приготовляются обращать магометан в православие. Если бы я здесь, в Академии, никого и ничего не слыхал, кроме о. Феодора, и тогда я стал бы благодарить Господа, что Он привел меня на четыре года в Казанскую академию».

(*1856 г. Окт. 7-й д<ень>*). «На октябрь вчера о. инспектор дал уже предложения. Предложения нетрудны — потому что составляют только повторение того, что он говорил в своем "Введении в богословие", — это отрицательные доказательства православия, или опровержение прочих религий; именно: 1) о несостоятельности человеческих, не утвержденных на вере во Христа Бога-Слова знаний; 2) о лживости новоиудейства, язычества и магометанства; 3) о лжи папства и новопреобразовательных исповеданий христианства на Западе; и 4) о лживом духе русских расколов. Как ни обширны кажутся каждое из этих предложений, но если смотреть на них с точки зрения о. Феодора, если в рассуждении изложить то, что он говорил, чего, конечно, он от нас и требует, то каждое из них выйдет не больше двух листов. Он опровергал дух каждого верования, не входя в подробное разбирательство догматов. Теперь читает он нам, уже

читает, а не говорит, положительные доказательства православия, тоже весьма своеобразно; но об этом после, когда выслушаем до конца. Эх! если бы время, время!.. списал бы, кажется, все, до последней строки о. Феодора».

(*1856 г. 14/21 окт.*). «Сейчас только окончил сочинение о. Феодору. Что это, как легко писать, когда предмет, не требуя кропотливой работы, хорошо уяснен еще наставником; в какие-нибудь 8 дней я окончил все сочинение; оно выйдет у меня всего листа 4».

«В среду, 17-го числа, вечером подтвердился слух о переводе нашего о. ректора (вероятно, в Новгород*) и о том, что к нам на его место будет послан Иоанн, бывший инспектор Петербургской академии, автор курса церковного законоведения[97]. Но, что всего прискорбнее, и наш о. Феодор, вероятно, скоро оставит нас; он уже не раз выражал опять подобные намерения. Да, это будет очень жалко! Три главных начальства будут новые; надобно будет приглядываться, привыкать к новым требованиям, во многом переучиваться, без сомнения. Но все это были бы только еще житейские неприятности, которые имеют и свою добрую сторону; а всего жалче будет, опять повторю, если нам придется лишиться возможности слушать о. Феодора. Как обширно может быть влияние наставника в Академии! Теперь у нас о. Григорий, преподавая Свящ. Писание, раскрывает для нас и делает общепонятными идеи о. Феодора. Несмотря на свой холодный, строго рассудочный ум, он принял синтетический способ воззрения о. Феодора, и теперь этот взгляд распространится на несколько курсов. Теперешние его слушатели, а будущие преподаватели Свящ. Писания, разнесут его по семинариям, на основании его преобразуются мало-помалу учебники, которые — как это мы здесь можем видеть — всегда бывают сокращенными копиями с записок, читаемых в Академии. Между тем я спрашивал о. Григория, бывши у него в середу, распространены ли были подобные глубокие взгляды на связь Заветов, на ход домостроительства и т. п. прежде, когда он сам учился, когда слушал о. Серафима. И о. Григорий сказал, что прежде ничего подобного не было, что им читали один сухой мелочной анализ, недостаточность которого он чувствовал сам, желал восполнить этот недостаток связи и общего взгляда, подводящего все под единство, и что для этого ему прекрас-

* Т. е. на викариатство Петербургской митрополии: викарии митрополита жили в Новгороде и управляли им.

но послужили пособием записки о. Феодора. Впрочем, очевидно, что он сам совершенно перерабатывает их, делает гораздо осязательнее для понимания и — надобно правду сказать — трудится для своей науки очень добросовестно, особенно если сравнить, например, с о. Диодором. Теперь я взял у о. Григория, чтобы прочитать, а насколько станет усердия — и описать, объяснение о. Феодора на первые три главы Кн. Бытия, содержащие в себе историю миротворения, райской жизни и падения человека. В этом начале Свящ. Писания о. Феодор находит зеркало всей последующей судьбы Церкви; в нем, при помощи сведения его с Апокалипсисом, он показал суд над папством и реформациею. Вы как-то выражали мысль, что подобный взгляд может довести до разномыслия с Церковию; теперь я вижу, что взгляд о. Феодора ни на шаг не отступает от учения Св. отцов, которых он нередко приводит и в свидетельство. Особенно его взгляд близок с учением Макария Египетского, которого о. Феодор особенно рекомендовал читать студентам».

(*1856 г. Окт. 28/29-го*). «После чаю, часов до 6, пока не угрожает нашествие начальства*, опять, как и поутру, вот уже в продолжение всей недели читаю толкования о. Феодора на первые три главы Кн. Бытия. Но, чтобы опять не увлечься в отвлеченность, скажу только, что здесь о. Феодор, принявши сказание Моисея в самом строгом, буквальном смысле, доказывает или, лучше, объясняет его на основании настоящего развития естествознания. При этом дивишься его обширным познаниям в физике и космографии, которых никак бы не мог предполагать в нем, судя по его разговорам; никогда он об них и не заикнется. Утвердив таким образом буквальный смысл сказания Моисеева, он раскрывает потом его духовное значение. Но чрезвычайно трудно понимать его; почти каждую точку перечитываем раза по два, по три».

(*1856 г. Ноября 4, 7 и 8-го*). «Лишь только я пришел от обедни, меня спросил к себе о. инспектор. Велел мне спросить себе у Кирилла (это у него ныне и повар, и камердинер) чаю, сесть подле него на диване и принялся разбирать со мной мое сочинение. Оказалось, что я, несмотря на то что записал уже подлинные слова о. Феодора, оказалось, что я односторонне понял его мысль: я доказывал ложность папства и протестантских исповеданий из того, что они не удовлетворяют нашему духу, а

* Обход инспектора или помощника инспектора.

о. Феодор, когда говорил нам, так имел в виду вообще ложность их, *объективную*, вследствие чего они уже и не удовлетворяют духу; я же раскрыл только *субъективную* сторону; впрочем, несмотря на то что мое сочинение односторонне от начала до конца, о. Феодор остался доволен им. Но так как у него наука и жизнь составляют одно, то он долго между прочим и вообще говорил мне в назидание о разных предметах. Скажу только одно, что в его системе находят примирение и успокоение все вопросы, тревожащие душу, обнимаются все житейские положения, и никогда не выйдешь от него без пользы».

(*8 ноября, Академический праздник*[98], *вечером*). «... А я отправился с записной книгой к о. инспектору. Он дал мне яблоко и пригласил меня присесть; поговорил о своих воспоминаниях, как в нынешний день исполнилось 10 лет его службы; потом поговорил о Вас, о Преосвященном Иеремии. Пересказал, между прочим, слух, будто к нам в Казань назначают Афанасия Иркутского. Он был в Твери ректором, когда о. Феодор переходил из училища в семинарию, и на экзамене дал еще ему красную бумажку[99]. Говоря о Преосвящ. Иеремии, он привел меня к себе в спальную, чтобы показать мне один образ — Свят. Арсения Тверского, на котором святой в самом деле удивительно похож на нашего Владыку. Тут я видел, что у него перед образами, на кивоте, на пелене или подушечке лежит раскрытый Новый Завет (как можно заметить, он беспрестанно читает его) — и еще одна проповедь, которую он не мог пропустить и, вероятно, положил тут на суд Божий. О. Феодор жаловался мне на одолевающее его уныние, обещался, если поедет когда-нибудь через Нижний, непременно побывать у Вас».

«Вечер (*11 ноября*) — это был последний день моего дежурства — вечер я провел у о. Феодора. Старшие по воскресеньям ходят с недельным рапортом о благосостоянии номеров после ужина; а старший дежурный, который в это время ужинает, приходит с журналами уже после молитвы. Когда о. Феодор подписал совсем журналы и уже отпустил было нас с чередным по кухне, вдруг опять воротил меня, чтобы отдать одну книгу, и потом пригласил — сесть поговорить. С 10 часов, таким образом, мы проговорили, т. е. я прослушал (потому что у о. Феодора не бывает времени почти рот раскрыть студенту) — я прослушал до часу. В промежутках, когда о. Феодор задумывался, я переносился мыслью к Вам и сравнивал царствовавшую вокруг меня тишину с той беготней и суетой, которая в это время

была у Вас*. Когда сидишь у о. Феодора и он, как нередко случается, минут с 10 молчит, нельзя бывает в это время подать какую-нибудь новую мысль, чтобы, как говорится, поддержать разговор, потому что в это время он, наверно, обдумывает прежнюю мысль и после продолжительного молчания снова начинает развивать ее с какой-нибудь новой стороны».

(*1856 г. Ноября 22-го*). «Ныне о. инспектор в 10-м часу призывает меня и говорит мне, что вчера вечером он был у г-д Корсаковых — одного старичка-генерала, семейство которого ездит в нашу церковь и знакомо с о. ректором и о. инспектором. В этом-то семействе о. Феодора вчера спрашивают: кого бы из казанских священников порекомендовал им пригласить для преподавания Закона Божия их детям? О. Феодор отвечал: почему же именно священника? а не угодно ли Вам взять, например, кого-нибудь из наших студентов? “И я сказал это, — продолжал мне о. Феодор, — имея в виду именно вас. Если Вам будет угодно это, так я бы мог представить Вам студента, за которого могу поручиться и я, и о. ректор. Я обещал им ныне же переговорить с вами. Что вы на это скажете?” — так заключил о. инспектор. Я отвечал ему, что для меня очень страшно такое предложение, как потому, что я еще никогда не брал на себя роль преподавателя, так и потому особенно, что роль учителя в таком аристократическом доме еще труднее. На второе затруднение о. Феодор отвечал мне, что это семейство чрезвычайно доброе и простое, и ободрял своим примером, говоря, что он не чувствует в их доме никакого для себя стеснения. Наконец, я спросил, нельзя ли мне написать об этом деле домой. — “Так что же? — отвечает о. Феодор, — это хорошо: спросите”. Едва ли я и сам понимаю свое мнение и свое желание; что Вы мне напишете, тем я и успокоюсь. Новость положения, кондиция[100] в таком доме и в таком семействе (в самом деле, семейство, кажется, очень доброе, хотя на отзыв о. Феодора, конечно, много полагаться нечего: его младенческая душа везде видит добро), эта необыкновенность положения меня очень завлекает. Самое преподавание (Катехизис и Священная и Церковная история, а ученики — Митенька** — 11 л<ет>, Верочка — 10 лет) еще не страшно бы; и времени, положим, стало бы...

---

* Это был день именин моего отца, и «беготня, суетня» предполагались мною по случаю приема вечерних гостей.

** Корсаков Д. А., профессор русской истории в Казан<ском> универс<итете>.

О. Феодору очень сильно хочется сделать меня законоучителем в доме Корсаковых потому, что он надеется, что я более или менее буду назидать по его плану, в его духе, чего, конечно, не может сделать ни один казанский священник. (Отличительное качество его направления — чтобы все было основано на Христе, а не так, чтобы жизнь была сама по себе, а вера, религиозная сторона — как некоторая необходимая же, но отдельная область.) О. Феодор видит во мне если не самого понятливого, то — по крайней мере — самого послушного ученика, и так как он смотрит на всякое дело не просто, но как на дело Божие, то ему и хотелось бы, чтобы я принял на себя долг "священнодействовать благовествование", как говорит он, заимствуя слова из Священного Писания[101]. Теперь я, кажется, изложил все дело. Ваш ответ, какой Вам Господь положит на сердце, послужит для меня несомненным извещением, угодно ли Ему, чтобы я священнодействовал благовествование, или для этого нужно священное лицо. Если Вы скажете "нет", приложите, пожалуйста, сколько возможно, и причины, не только для меня, но и такие, которые бы были действительны для о. Феодора; потому что, например, все прописанные мною и умолчанные перед ним причины были бы для него совершенно непонятны. Самые ограниченные из "сынов века сего" мудрее "сынов Царствия", "обратившихся в детей и буиих в веце сем"[102]. Я позабыл написать Вам, что о. Феодор ожидает пользы от моего преподавания сколько для учеников, столько же и для самого учителя, которому, по его мнению, настоящая должность послужит приготовительной школой для будущего действования».

(*1856 г. 27 нояб.—2 дек.*). «Ах, если бы привел меня Господь Бог выслушать всю систему о. Феодора! Что это за живое богословие! Что, если бы все науки преподавались у нас с такою же жизнию, как догматическое богословие да история Русской Церкви*. По Свящ. Писанию о. Григорий тоже читает едва ли не целиком лекции о. Феодора».

(*1856 г. Дек. 6/9-го д<ня>*). «После всенощной Корсакова зашла к о. Феодору и теперь, быть может, идет речь обо мне. (Николин день. Пишу после обедни.) Вчера после ужина о. Феодор призвал меня и сказал, что он передал Корсаковым — что́ нужно, и потому ныне вечером мы отправимся к ним; но предварительно он велел сходить к о. ректору — испросить его по-

* А. П. Щаповым.

зволения и благословения. Потом долго говорил мне о преподавании и, в частности, о том месте Катехизиса, где говорится о различии между знанием и верой. Он не может надивиться, как это так м<итроп.> Филарет написал это, тогда как сам же он никогда не допускает себе умствовать не по вере. По мысли о. Феодора, для всякого христианина должно быть долгом, чтобы всякое знание было у него по вере, так что кажется, знание и вера должны быть совершенно одно и то же. «Право, уж, я и понять не могу, — говорит он, по обыкновению с усмешкой, — как это он, мой батюшка, допустил это; да ведь еще в первом-то издании не было, так во втором-то прибавил»[103]*. У него просидел я до 11 часов».

(*1856 г. Дек. 6-го*). «Должно быть, Господу решительно угодно, чтобы я занялся с этими детьми; сейчас получил последнее позволение от о. ректора. Он сказал: "Хорошо, доброе дело". Вчера о. Феодор наказывал мне, чтобы я не позабыл, "когда буду просить позволение у о. ректора, просить его у Отца" (т. е. Небесного). По его образу мыслей, всякое послушание должно быть оказываемо не человеку, но непосредственно Отцу Небесному, Который Сам поставляет нас в то или другое положение и воля Которого выражается во всяком приказании начальства, хотя бы иногда очевидным казалось при этом действии влияние страстей и человеческого произвола. Дверью подите к отцу-то ректору, дверью; не перелезайте нигде, никогда» (Иоан. X, 1).

«Еще; вчера разговор коснулся как-то монашества, и о. инспектор, взглянув на меня, вдруг спросил: "А что, Лаврский, вы пойдете в монахи?" — "Нет, Ваше Высокопреподобие", — отвечал я, покачав отрицательно головой. — "Ах, батюшка, не говорите так, — прервал он меня, схватив за руку, — говорите: как Бог устроит! Как нам знать, что будет? Может быть, после такое желание будет, что и удерживать будут, да все превозможет это желание. Нет, не говорите так".

Потом он коснулся Филарета и сказал: "Вот это — идеалисты! Ах, нет! впрочем, я уж много сказал!" — прибавил он. (А разговор, прежде предложенного мне вопроса, был тот, что монашество не есть какой-нибудь идеализм.) "Вот и в проповедях-то его, — продолжал он, — как где созерцание выспреннее,

---

* О. Феодор, по-видимому, не знал, что это прибавление сделано митроп. Филаретом не по собственной инициативе, а по требованию Синода, исполнявшего в этом случае волю обер-прокурора гр. Протасова[104].

ну так та́к превосходно! а вниз-то он уж и не спускается или, если и спускается, так уж только разит!.. Это — оттого, что Истина-то, постоянно пренебрегаемая нами, приняла судящее направление; так Она и проявляется в служителях-то Своих"».

Должно заметить, что в устах о. Феодора слово «идеалист», «идеализм» было словом не одобрения и похвалы, а — осуждения и порицания; потому что идеализм он противополагал не материализму, а реализму, и называл идеализмом забвение и пренебрежение действительно существующего или намеренное его порицание — своего рода евтихианство[105], следовательно, заблуждение в области веры и мысли и практический грех горделивого презрения к воспринятой Господом нас ради человечекой телесности.

(*1856 г. Дек. 7-го*). «Вечером, в 6-м часу, я пришел к о. Феодору, который уже ожидал меня. Отпустив своего Кирилла, он один пил чай. Я выпросил для него у о. эконома лошадь, потом налил себе и ему по стакану чая. Между тем он взял со стола книгу пророчеств Иезекииля (в русском переводе[106]) и почитал немного. Очень хорошо бывает слушать, когда он читает; всякое слово получает особый, новый смысл, который, видимо, относится не к одному древнему Израилю. В 6 часов мы отправились и вскоре были у подъезда; дом не очень далеко от Академии. Когда мы вошли в залу, все почти семейство поднялось с дивана навстречу о. инспектору. Я шел за ним, несколько в стороне, на благородном расстоянии. О. инспектор отрекомендовал меня; его усадили на диван, мне предложили один из стульев, стоявших около переддиванного стола»... Часов в 8 приехала гувернантка[107] с детьми из гостей от какого-то маленького именинника... «Часов до 8 мы сидели все вместе вокруг стола, кто — с работой, кто — без работы; в числе последних была Софья Дм.*, которой, как она призналась мне, бывший о. ректор наш — Парфений дал заповедь — не работать по праздникам, а о. Феодор к ней прибавил другую — не злословить по праздничным дням... Митеньке сказали, чтобы он показал мне свою комнату, и мы, в сопровождении Нат. Ив.» (гувернантки) «отправились наверх. Вскоре туда же пришли и другие, кроме старичков» (самого Корсакова и приезжих — брата его и тетушки), «и тут еще посидели до 9 часов»... А между тем, пока мы были там, о. ректор присылал уже за мной, нетерпеливо желая узнать о результате нашей поездки.

---

* Только что описанная выше в письме мать учеников — С. Д. Корсакова, родная сестра Конст. Дм. Кавелина.

На другой день в 11 часов явился к нему и передал все, о чем мы переговорили. Он дал мне несколько общих наставлений и в заключение прибавил: «Я уверен, что вы, конечно, не станете преподавать там никаких этаких фанатических мыслей… апокалипсических бредней». Понятно, о чем это говорилось. Я отвечал: «Если я на что смотрю как на фанатическое, Ваше Высокопр<еподобие>, так уж того, конечно, не стану внушать другим». Таков, оказывается, в это время был взгляд ректора Академии — Агафангела на о. Феодора, взгляд, который он не находил нужным прятать и от студентов.

(*1856 г. Дек. 21-го д<ня>*). «О. Феодор надеется, как видно, что я проведу его направление в свежую, еще нетронутую душу моих учеников так, чтобы оно послужило началом их будущей душевной жизни. Тогда как и люди с академическим образованием, с суммой стольких понятий, едва могут найти в ученом даже языке слова для передачи его идей друг другу. Конечно, всего этого не было бы, если бы мы не понимали только, а — прочувствовали и прожили сами то, что хотим понять; тогда и сами поняли бы лучше, и другим сумели бы передать».

«На прошедшей неделе мы были еще с середы уволены от классов для приготовления к экзамену. О. Феодор, который не успел сказать нам о всем, что мы должны были повторить к экзамену, с нашего согласия хотел прийти к нам в первый номер и до<с>казать неконченное, чтобы не делать классов после того, как мы получили увольнение от них. Разумеется, мы изъявили свое согласие, и в четверг в 11 часов мы собрались в первый номер и уселись — человек 15 на диване*, прочие — на табуретках. О. инспектор толковал с нами от половины 12-го до половины 2-го. Мне не раз на прошедшей и на этой неделе случалось просиживать у него по вечерам. Один раз — в середу — накануне первого класса у Корсаковых я просидел у него до 11 часов; через день, в пятницу, он призвал меня после ужина спросить — был ли я у Корсаковых, и проговорил до часа; потом, как будто в награду за бдение, разделил со мной оставшиеся у него два яблока. В понедельник на этой неделе, когда я и чередной по кухне пришли к нему с журналами, он разбирал сочинение этого чередного и продержал нас до 12 часов. Потом опять, частию — в награду за стоянье, частию — чтобы утешить чередного, обескураженного разбором сочинения, вы-

* Это были 2 дивана, соединенных вместе, с общей стенкой, но без разделяющей их боковой ручки.

нес нам по яблоку и по кисти винограда. Сколько мне приводилось слышать, он вообще делал не очень лестные отзывы о сочинениях наших; но москвичу, который перешел в Академию нашу, говорят, сказал, что здесь пишут сочинения лучше, чем в Московской академии; то же говорил он и в прошедший курс». Москвич, о котором здесь поминается, — Н. Ф. Глебов, рязанец.

(*1856 г. Дек. 25/28-го д<ня>*). «Вызванный Вашим письмом, я вздумал изложить Вам вкоротке все учение о. Феодора; только, если Вы встретите в чем-нибудь сомнение, приписывайте это, пожалуйста, моему изложению, а не самому о. Феодору; долговременным опытом научились мы, что, излагая его мысли, редкий из нас не впадает в какую-нибудь погрешность или ересь, которые ему беспрестанно приводится исправлять в наших проповедях и сочинениях. Иного я и сам почти еще не понял или — лучше — понимаю только одним умом; тем более не можете понять Вы в *моем* изложении — многого. Но многое поймете и Вы, маменька, даже без привычки к ученому языку; особенно утешительна и, быть может, особенно для Вас, маменька, которая так тяготитесь житейскими обстоятельствами, будет утешительна та часть учения о. Феодора, что он не разрывает жизни духовной с жизнию мира и света, но в самих житейских делах указывает возможность постоянно быть на службе Божией, как бы перед Богом, так что принимать какого-нибудь скучного гостя или припасать для других — испить и покушать, — выходит одно и то же, что молиться или заниматься богомыслием. По его мысли, все, даже до последнего приличия, до обычного бессмысленного вопроса о здоровье, должно быть основано на Христе» *.

«Я очень рад, что письмо о моем здоровье и леченье привело Вас к преданности воле Божией; это лучшее и одно только постоянно верное средство против огорчений; дай-то Бог нам с Вами привыкнуть к постоянному пользованию этим лекарством. Правда и то, что слова о. Феодора часто служат для меня успокаивающим средством; он, как искусный лекарь, напоминает и указывает в леченье; но немного могли бы Вы понять, если бы слушали его самого; надобно иметь долговременную привычку к его языку, чтобы понимать, что говорит он, и мысленно дополнять пропуски в его словах, которых он сам не замечает».

---

* Изложение учения о. Феодора, должно быть, составляло приложение к письму и не сохранилось.

«После всенощной» (на 3-й день Рождества Христова) «спросил меня к себе о. инспектор, чтобы я растолковал его Кириллу — где живут Корсаковы. Он спросил, был ли я у Корсаковых на празднике, и узнав, что я не был, присоветовал непременно сходить на другой день поутру; а вечером — само собой — обещался быть у них со мной в другое время. О. инспектор оставил меня и на время ужина, сказав, что я хоть так посижу, если не буду ужинать» (мне запрещено было врачом и ужинать, и пить вечерний чай), «а потом было заметил, что, вероятно, один раз можно нарушить правило, но я отказался от ужина, а изъявил желание съесть только кусок пирога. Таким образом, мы поужинали вместе; после ужина о. инспектор велел подать тарелку винограда, хотя сам его почти вовсе не кушал, потому что, как говорил он, на днях почувствовал от него как будто лихорадочные припадки. От о. инспектора я воротился почти в 11 часов».

«В свободные часы занимаюсь переводом с славянского, о. инспектор дал на Святки студентам, чтобы желающие перевели на русский язык с славянского рукописное сказание о чудотворной иконе Божией Матери, которую к нам приносят из Седмиозерной пустыни[108]. Все сказание 23 листа. О. Феодор намерен издать наш перевод особой книжкой в пользу пустыни, чтобы это было вроде пожертвования со стороны студентов нашей Академии».

(*1856 г. Дек. 28 — 1857 г. Янв. 4-го*). «В пятницу <28-го> поутру мы встали в 9 часов, и то некоторые пришли на молитву в шинелях; так мы начали собственно вакацию, дни без ученья и без службы. Напившись чаю, я пошел явиться к о. инспектору, потому что накануне ни разу не мог застать его, чтобы по его приказанию явиться ему по возвращении от Корсаковых. До 10 часов он еще молился; а между тем, кроме меня с дежурным К., его уже ожидал в прихожей какой-то маленький именинник с приношением булочных хлебцев, конечно, не бескорыстным. О. инспектор оставил нас попить с ним чаю. При нас приезжал к нему с визитом один из соборных священников; беспрестанно приходили и другие лица, поминутно отвлекавшие о. инспектора, пока не пришел с визитом о. ректор и уволил нас своим приходом».

(*31 дек.*). «Ныне о. инспектор вздумал сделать у нас праздник; вчера дал регенту 3 целковых денег, чтобы он купил лакомств, и обещался прийти к нам поутру часов в 10 — слушать

певчих и музыку. В 1-й номер перенесли гусли, певчие уселись вокруг одного стола, слушатели, которых тоже набралось немало, — на другом диване; пришел о. инспектор, и у нас составился инструментальный и вокальный концерт; то пели, то играли разные пьесы, разумеется, духовного содержания, а в заключение пропели с аккомпанементом гуслей: *Боже, Царя храни!* Концерт продолжился до половины 12-го. Я думал, что тут надобно будет присутствовать всем; а после увидал, что напрасно не ушел к обедне в Воскресенскую церковь, где обедня должна была начаться часов в 10. Не знаю, что со мной в нынешнюю вакацию; самому себя стыдно: вот уже прошло сколько времени, а я еще нигде не бывал в городе у обедни: отчасти в этом виновато ослабление дисциплины, по милости которого <так!> мы встаем в те дни, когда у нас не бывает службы, все около 9 часов».

(*1857 г. Янв. 4-го*). «Вчера вечером уже почти в 9 часов мы» (я и о. ректор, от Корсаковых) «отправились; сначала о. ректор отъезжал в соборный дом» (где в чьей-то свободной квартире он временно жил тогда, все ища себе убежища от сухости воздуха в академической квартире вследствие амосовского отопления) — «сначала о. ректор отъехал в соборный дом, и я с ним; потом из соборного дома в Академию, на ректорской паре в ректорской повозке отправился бочонок о. ректора за водой, и я с ним» (академический воздух был вреден, академический же колодезь славился своей вкусной и здоровой водой); «я сидел, а он стоял подле меня и — очень смирно. Но когда мы с бочонком из соборного дома прибыли в Академию, было уже половина 10-го, и у нас отходила молитва. Я явился к о. инспектору; он принял меня с улыбкой, как будто я возвратился в свое время и пришел с молитвы; что было бы, подумал я, если бы это случилось при о. Серафиме! да при нем этого и не случилось бы; при нем я ушел бы поскорее пешком и не стал бы ждать, когда о. ректор вспомнит, что мне пора домой. Меня просили непременно приезжать опять, когда будет у них о. Феодор; а если он приедет с о. Григорием, то приходить хотя пешком».

Чтобы показать, как различно было отношение общества к великолепному и важному ректору Академии Агафангелу и к смиренному маленькому монашку о. Феодору, приведу из этого же письма выдержку о посещении о. ректором семейства корсаковской гувернантки, ее матери и сестер, помещавшихся в антресолях корсаковской же квартиры. «Вскоре туда пришел

и о. ректор, Антонина, что́ ни сидел он у них, не переставала мистифицировать его, навязывая себе различные недостатки и пороки, против которых о. ректор с самым важным видом читал ей наставления, а она выслушивала их с лукаво-смиреннейшим видом, а иногда, когда о. ректор подтверждал ей: "Помните же это! слушайте же! не забывайте!" — она, пригнув головку на сторону, приговаривала: "Запишу... непременно запишу.. право! запишу!.. не забуду!" Удивительно только одно: как о. ректор мог не понимать, что над ним шутят, когда, например, Антонина» (она была младшая из сестер) «жаловалась ему, что старшие сестры ее не уважают и прочее тому подобное. Между тем, не подумайте, чтобы над о. ректором смеялись; нет, его любят и уважают от всей души; одна из сестер даже его духовная дочь».

Ну, «шутить над» кем или смеяться над кем — это уже слишком тонкое различие! Еще через несколько страниц, в том же письме: «Наталья Ив.» (гувернантка) «один раз сказала, что она о. инспектора любит еще больше, чем о. ректора; в разговор как-то вмешались дети, и Софья Дмитриевна заметила им, что любить надобно всех равно». Этот случай я сообщал в письме как пример фразерства, шокировавшего меня тогда в этой семье.

(*1857 г. Января 12 и 13-го*). «Во вторник у нас начались классы; но, по московскому обычаю, довольно лениво; только о. Вениамин, по неизменной своей пунктуальности, продержал нас свои полтора часа; а о. инспектор только поздравил с Новым годом. В Московской академии есть обычай, что первые классы делает каждый наставник не долее получаса: оттуда этот обычай перешел и к нам».

«О. Феодор в субботу начал нам читать о творении, свои записки на первую главу Кн. Бытия, которые я брал у о. Григория. Что-то Вы напишете мне о моем изложении его мыслей. Какой-то камергер Лукошкин[109] просил дозволения слушать его лекции; кажется, это дело оставили до усмотрения Преосвященного*. Расположение о. ректора к о. инспектору, кажется, довольно сильно изменилось; может быть, по поводу одного догматического вопроса на прошедшем экзамене, в решении которого о. ректор зашел против Св. отцов и даже против нашего учебника, а может быть, и — еще вероятнее — по следующему случаю. О. ректор выпросил у о. Феодора его толкование

* Преосвящ. Афанасия, приезд которого тогда ожидался.

на Апокалипсис для прочтения и потом дал — на́скоро, под строжайшей тайной — списать, причем платил чрезвычайно дорого за каждый лист; однако о. инспектор как-то узнал это и второй половины своих записок уже не дал даже и для прочтения».

(*1857 г. Янв. 20/24-го*). «Возвратясь домой, я передал о. инспектору просьбу Корсаковых» (найти из студентов еще законоучителя для детей одного семейства из круга знакомых Корсаковых) *, «он сказал: надо Павлова» **. Но вскоре он это оставил и занялся своим отчетом о Симбирской семинарии (еще по ревизии). Высказывал мне свое *горе* — что ему хотелось бы в отчете изложить подробнее то, что он заметил хорошего в Симбирской семинарии и чего он особенно желал бы от нее, а о. ректор требует, чтобы отчет был изложен в более общих чертах. Он прочитал мне и часть своего отчета; дело шло, конечно, из-за учебной части: о. инспектор хотел выставить на вид, что в Симбирской семинарии, по его замечанию, и светские науки стараются утвердить на начале Христовом... Но это дело — сторона! Не совсем благосклонное раположение о. ректора к о. инспектору, быть может, еще более усилено припиской прокурора ***, который, в ответ на адрес, посланный к нему от лица Казанской академии, в конце письма своего упомянул, что он с особенным удовольствием вспоминает о назидательной беседе о. Феодора. Говорят, в Москве, в доме этого самого гр. Толстого, провел последние дни свои Гоголь [110]; здесь-то, вероятно, и был случай сойтись Толстому и о. Феодору. От 7 часов я просидел у о. инспектора до 9».

(*1857 г. Янв. 30-го — 3 февр.*). «В воскресенье, когда Павлов, заключая условие с Могилатовыми, явился к о. инспектору с известием, о. инспектор предложил ему на выбор портреты Государя и Государыни, которые были приложены при календаре; Павлов выбрал себе портрет Государыни; а Государя Императора о. инспектор поручил ему подарить мне. Я очень рад был, что мне достался портрет Государя Императора. Этакий, право, добрый о. Феодор!»

«Говорят, о. ректор представил о. инспектора к ордену «за великое нравственное влияние на воспитанников Академии».

---

* Могилатовых.

** А. С. Павлов — после известный канонист, профессор Московского университета.

*** Обер-прокурора Свят. Синода Александра Петр. Толстого.

Это символ примирения. А о. Феодор представляет к ордену о. Серафима».

«О. Феодор рассказывал, как встречали Преосвященного: Виктор Петр.* говорил ему речь, в которой напомнил, как некогда, после того как восхи́щен был Илия, сыны пророческие встретили Елисея и поклонились ему до земли; так и мы, Владыка, продолжал он, если и не повергаемся пред тобою на землю, то повергаем пред тобою наши...[111] и пр. и пр.; Преосвященный тоже отвечал речью: отцы святые, — говорил он, — представитель ваш напомнил нам, как сыны пророческие, встретив Елисея, приветствовали его поклонением; так и мы сделали — и поклонился своей пастве в землю. Потом поучил их еще необходимости смирения и заключил увещанием — *да любим друг друга*[112]. Видно было, что он говорил от сердца».

Опишу Вам гощенье нашего Преосвященного в Казани, потому что он промелькнул у нас не больше как гостем. Я уже писал Вам, как он, в первый же день по приезде, дал своей пастве урок смирения. Только о. инспектор, который передал мне этот рассказ, смягчил его, вероятно, чтобы не ввести слушателей в осуждение; Преосвященный прямо сказал: вы мне не кланяетесь, так я вам поклонюсь, и потом продолжал речь «о смирении», это было на открытой паперти собора. Речь Викт. П. с ответом Преосвященного наделала, конечно, много шума в городе; а Викт. Петр. хочет еще ее отпечатать в «Казанских ведомостях»**[113]. Так, и Преосв. Афанасий и о. Феодор и не думали смотреть на этот обмен речами как на случай маленького скандала, как на выражение желания со стороны Преосвящ<енного>, чтобы духовенство являлось к нему, по старине простиралось пред ним. О. Феодор отнесся к этому совершенно просто и серьезно, не как к тенденциозному «уроку смирения», а как к искреннему выражению архипастырского смирения. Он знал Преосв. Афанасия еще по службе его в Тверской семинарии, в должности ректора[114]. После и казанская паства имела время убедиться, что Преосв. Афанасий был человек крайне простой и совершенно неспособный руководиться в своих поступках какими-нибудь задними мыслями.

Теперь уже не помню, в этот ли свой проезд через Казань на пути из Иркутска в Петербург или, что вероятнее, по возвращении уже из Петербурга, Преосвящ. Афанасий посетил Ака-

---

* В. П. Вишневский — кафедральный протоиерей.

** Губернских, вероятно, потому, что других периодических изданий тогда в Казани еще не было.

демию и обошел квартиры начальствующих в ней; не понимаю, как могло случиться, что такое событие в нашей академической жизни не помянуто в моих письмах. Быть может, это было перед самым отпуском на каникулы и потому не попало в письма. Преосвященный Афанасий, несмотря на свою массивность и грузность, был очень быстр во всех своих словах, приемах и движениях. Так, и делая, так сказать, визиты начальникам Академии, он пробежал по их покоям. По крайней мере, у о. инспектора он даже и не присаживался. Из передней вступил в небольшое зальце, из которого дальше прямо против входной двери была дверь в кабинет; а от кабинета перегородкой не доверху влево была отгорожена полутемная спальная. Если прибавить, что от передней отгорожена была небольшая узкая столовая тоже перегородкой не до потолка, чтобы несколько осветить переднюю, получавшую свет только чрез двери из зала и из столовой, то вот и вся монашеская квартира инспектора Академии. Преосвященный Афанасий, шагнув из залы в кабинет, заглянул и влево, в полутемную спальную. В ней оказалось только у правой стены низенькая железная кровать, на которой переживал о. Феодор периоды моральной прострации сил духа под давлением каких-либо огорчений, а у стены прямо против двери кивот[115] с образами, горящая пред образами лампадка и Евангелие, лежащее на нижней половине кивота. Окинув все это своим орлиным взглядом, Преосвященный Афанасий сказал: «Библиотека у тебя хорошая! славная библиотека!» Его, как видно, поразило это полное отсутствие у академического профессора и фолиантов в пергаментных переплетах, и современных немецких богословов; и своим восклицанием он хотел выразить полное свое сочувствие методе профессора готовиться к лекциям не многочтением, а молитвою и размышлением.

(*1857 г. Февр. 14/19-го*). «О. инспектор в середу после обеда» (это было на масленице) «уехал в деревню к помещику Леонтьеву с двумя его племянниками, студентами университета, и пробудет там до субботы. Должность инспектора исправляет теперь о. Диодор, и — надобно правду сказать — довольно снисходительно, за большим не гонится: были бы только к ужину все налицо. Потом у нас обед бывает только на двух столах вместо четырех; студенты — кто в городе на блинах у знакомых, кто в театре на утренних спектаклях».

(*1857 г. Февр. 23/27-го*). «Вечер середы» (на первой неделе Великого поста) «я провел у о. инспектора. Я пришел было к

нему просить позволения избрать особого духовника, который бы мог быть не только свидетелем моего исповедания, но и моим руководителем в духовной жизни. О. Феодор посмотрел на меня и потом сказал: “Батюшка! не пренебрегайте Господом-то!” Обняв меня, он стал ходить со мной по комнате и, не отказывая прямо в моей просьбе, показал мне сначала, что она неразумна, а потом довел и до того, что я сам увидел, что́ именно было в ней оскорбительного для Господа. “А кого бы вы думали себе избрать?” — спросил он потом меня; я отвечал, что хотел было просить о. Василия Лаврова принять на себя обязанность быть моим духовным отцом. (Я незнаком сам с этим священником, но знаю его и слышал о нем довольно от разных лиц; он здесь законоучителем при первой гимназии, хотя и не был в Академии.) Наконец о. Феодор показал мне опасность, какой я мог подвергнуться чрез собственный выбор духовника, и после того уже сказал: “Как хотите; если угодно, так я позволяю”. — “Нет, В<аше> В<ысокопреподобие>, — отвечал я, — теперь я уже не имею никакого и желания”». (Эта опасность, о которой предупреждал меня о. Феодор, я помню, выражена была им в таких словах: «А что как избранный-то вами духовник поведет вас от Господа-то Иисуса Христа к Иоанну Крестителю?»). И затем я продолжал в письме своем: «Что это за сила убеждения в словах этого человека! слово его *живо и действенно*[116]; великая милость Божия, что я попал под его руководство; я именно смотрю на него как на своего авву[117], который умеет разъяснить все “помыслы”, который иногда разоблачит для тебя такие сокровенные тайны твоей души, которых ты и не подозревал в себе. Беседа об исповеди продолжалась, должно быть, около полутора часа. В это же время о. Феодор высказал несколько замечаний своих на Великий Канон. Что́ особенно поразительно и привлекательно в его учении, так это то, что у него получают полную силу, буквальное значение, такие предметы, которые мы привыкли считать только аллегориею, применением, объяснением только для успокоения ума. *Его учение — его учение*, скажете вы; это подозрительно! что за новое учение? *аще мы или ангел с небеси благовестит вам паче…*[118] нет, не новое учение; я говорю *его* только потому, что от него только нам удается слышать его; это — учение самое древнее, только ныне нынешними учителями почти вовсе забытое; а у Святых отцов находим его в полной силе; когда читаешь Макария Египетского, Ефрема Сирина и других отцов, писавших “о совершенном христианстве”[119] творения аскетического содержания, то у них находим все то, что слышал я у о. Феодора,

и — без его уроков — ни за что не понял бы этих творений. Еще на первом же году мне привелось прочитать (для рассуждения) книгу св. Максима Исповедника "О любви"[120]; помню, тогда же меня поразила мысль: как так ныне не учат ничему подобному? то ли уж ныне христианство? а необходимо было принять одно из двух: или признать Св. отца мечтателем, или признать, что нам многого не говорят из того, чему учили Св. отцы. Разность между творениями отцов-аскетов и взглядом о. Феодора — та, что у Св. отцов все эти мысли приноровлены исключительно к монахам, оставившим все земное, а о. Феодор указывает, как — и не оставляя житейских отношений — можно жить христианином истинным. Но все это для Вас общие отзывы, которые не могут быть понятны и потому — не могут быть занимательны; виноват! позабылся. После того о. Феодор поговорил со мною о разных других предметах, и я оставил его, уже когда было 20 минут 12-го».

«Первые слова, которыми встретил меня духовник, были: "А я уж думал, что вы не придете ко мне, что вы кончили курс"». (Он мог подумать, что меня уже нет в Академии, потому что исповедоваться мне пришлось почти после всех.) «Эти слова были прямым ответом на главную мысль мою, что, вероятно, отец мой духовный не мог меня даже и упомнить между множеством своих духовных детей, которые к тому же, вероятно, все так похожи один на другого. "Так вы, батюшка, не забыли меня?" — спросил я. "Как же, как забыть! вот только имя-то позабыл, — мудреное такое". В этих словах, и притом в такое время, — я не мог не видеть прямого ответа на мое сомнение и мою предшествовавшую просьбу».

«Когда я в воскресенье, пришедши от вечерни, поднимался вверх с моим чайным ковчежцем из столовой, в коридоре среднего этажа меня встретил и остановил о. инспектор; он внимательно и в различных, изменяемых выражениях, спрашивал меня, не ощутил ли я после исповеди хоть какого-нибудь лишения или недовольства, тем т. е., что не сделалось так, как мне хотелось касательно избрания духовника. Я отвечал, что мне после того не приходило уже и мысли подобной. "Ну, слава Богу!" — сказал он после долгих и настоятельных расспросов, разноображивая свои слова: "А мне ныне за обедней пришла эта мысль, что ведь надобно опасаться, чтобы не дать места духовному своевольству, да также — чтобы и не сделать духовного насилия; ведь и у души-то тоже есть своего рода духовные инстинкты, подобно тому как у телесного организма бывают иногда свои требования"... Я рассказал ему слова, которыми

встретил меня духовник. “Вот, вот, батюшка! Это вам *Кто* сказал?.. Еще и не это услышите, как станете прислушиваться-то; такие будут случаи, что как будто за руку возьмет вас Господь, да и поведет”».

(*1857 г., марта 3/10-го*). «Теперь, в марте месяце, будем писать о. инспектору — сначала думали, что просто проповеди; потом узнали, что это будет, кажется, ряд поучений о таинствах. О. инспектор по-прежнему будет призывать студентов к себе и разъяснять им темы; если это выйдет хорошо, сочинения будут отпечатаны в “Православном собеседнике”». «В понедельник о. инспектор позвал к себе Павлова, Соколова, Орлова и меня, чтобы дать нам темы для четырех вступительных поучений о таинствах. Павлов напишет вообще о необходимости и пользе подобного исследования, Соколов — о внутренней силе таинств, я — об образе совершения их, Орлов — о том, как возгревать благодать, принимаемую в таинствах. Потом о. инспектор будет приглашать и других студентов по три человека; каждое таинство будет рассмотрено в частности с тех же трех сторон. Ах, если бы все написали старательно и удачно! — какой бы из этого вышел прекрасный ряд поучений! С нами о. инспектор толковал часа два — от 7 до 9 часов, и теперь сто́ит только каждому записать то, что говорено, выйдет большое поучение; но — записать нелегко! иное очень трудно понимается. О. инспектор просил нас также переписать ему те проповеди, которые мы писали под его руководством, но из них, к сожалению, многих уже не оказалось; часть — оставили их дома, у некоторых (как и у меня в том числе одна проповедь) пропали из среды других бумаг, между которыми лежали. Получив позволение о. инспектора, я воскресил мою проповедь по черновой, к счастью сохранившейся у меня».

(*1857 г. Марта 20-го*). «В понедельник вечером о. ректор получил бумагу о своем переводе... О. инспектор на время вступил в должность о. ректора, а и<сполняющим> д<олжность> инспектора сделан о. Вениамин, и с завтрашнего дня начнется опять царство терроризма, ригоризма и формализма, которые, впрочем, нам уже ныне нисколько не страшны, в лице о. Вениамина. Ныне о. ректору давали обед у о. инспектора, вероятно, только монашествующие, потому что приборов было немного.

«Вот и окончилось стоянье: продолжалась вся служба только два часа, оттого что о. Феодор, который сам читал канон, хотя ничего не пропускал, зато — для нашей немощи — соеди-

нял несколько тропарей под один припев, так что на каждой песни пели: "*Помилуй мя, Боже, помилуй мя*!" — всего раза по два, по три, много — по четыре».

«Опишу Вам, как мы провожали о. ректора: подняли нас, по обещанию, в 4 часа, и мы тут же сделали молитву; но оказалось, что лошади были не готовы, и мы прождали часов до 6, в это время собрались в церковь, стали служить молебен в путь шествующим. Затем начался обряд прощания, после краткой наставительной речи, сказанной о. ректором. Сперва они с о. инспектором поклонились друг другу в ноги и крепко обнялись с большим чувством; потом то же — прочие монашествующие, потом — все студенты. После прощанья мы только успели накинуть шинели и выйти на крыльцо — о. ректор уже садился в повозку. С ним поехали о. Вениамин и о. Диодор, а о. Феодор поехал служить в университет, хоронить студента Модеста Стан. Нагловского, где говорил над гробом его слово».

«Софья Дм. поручила мне передать о. инспектору просьбу Молоствовой, жены попечителя*, — не даст ли он проповеди, которую говорил над университетцем. Только в пятницу поутру мог я передать эту просьбу о. Феодору. В пятницу же вечером, после молитвы, пришел я за проповедью к о. Феодору, а он подумал, что я пришел за своей проповедью, которую подал ему с предложением своей готовности — переделать ее, если будет нужно. О. Феодор признался мне, что проповедь ему не понравилась, и рассказал, что́ нужно переделать, что́ прибавить, а когда я спросил — что же зачеркнуть? (потому что проповедь и так почти два листа), о. Феодор решил, что, значит, ему надобно прочитать ее со мной самому. Я застал о. инспектора в этот раз за ужином весьма странного содержания: перед ним лежал на тарелке ломоть черного хлеба, стояла кружка воды и в стакане натертый хрен, разведенный чем-то, кажется, тоже водой; он кушал черный хлеб с хреном; я застал его на половине стакана, и он при мне скушал весь хрен чайной ложечкой. После я услыхал, что он на похоронах простудился и чувствовал лихорадочные припадки; вероятно, вследствие того был такой ужин; а то, вообще говоря, о. Феодор не из числа строгих проповедников поста; и сам кушает — хотя весьма мало, но — все, что предлагает ему Кирилл. А худ он до чрезвычайности! это особенно видно на руках: руки его худее моих, облик такой же ссохшийся, как изображают на иконах Святителя Митрофана Воронежского. Только голова у него большая, вовсе

* Попечитель Казанского учебного округа.

не по туловищу; к тому же он и пояс носит очень низко, оттого, когда его видишь в подряснике (что бывает очень редко), так он представляется как будто мальчиком с головой большого человека».

«В воскресенье перед обедом меня позвал о. Феодор, чтобы отдать мне проповедь свою над Модестом*. Так как до обеда он не успел прочитать ее, то велел зайти к нему и после обеда; при этом я попросил у него и своей проповеди, видя, что при теперешних ректорских занятиях ему некогда будет прочитать ее со мной, чтобы мне потом уже исправить; а оставить ее у него неисправною — он же мог бы этим огорчиться. Пока он прочитывал свою проповедь, пока опять говорил об исправлении моей, время набралось до 20 м<инут> 4-го, а он еще, кажется, не обедал».

(*1857 г. Марта 26/31-го*). «Еще поутру в четверг» на 6-й неделе Великого поста «через повара о. Феодора распространился слух, будто ему пришло письмо, которым его уведомляют о переводе куда-то в Сибирь. Эта печальная новость все более и более подтверждается. В четверг вечером о. Феодор, к слову, сказал Павлову: "А что, как меня, батюшка, от вас куда-нибудь двинут?" О. Вениамин издал старшим строгие требования относительно месячных ведомостей; а, конечно, он не стал бы так настоятельно этого требовать, если бы продолжал еще считать себя двухнедельным инспектором.

Только куда в Сибирь? А верно, исполняется предчувствие о. Феодора, который не раз говорил и в последний раз, провожая одного студента в Нерчинск, повторил: "Ноет мое сердце! чувствую, батюшка, что быть мне когда-нибудь в Сибири". За наше невнимание отнимает у нас Господь Свое познание! Верно, не стоим того, чтобы открывать нам истину живую и — скучно же будет слушать опять мертвую букву догматизма!.. Впрочем, в воскресенье о. Феодор недаром говорил мне, что уж если Господь устроит это, так, верно, так надобно».

«В нашем монастыре, как вы видите, на все есть свой устав, гораздо посовременнее, чем Устав, лежащий в алтаре, на аналое[122]; потому у нас и в Лазарево Воскресенье[123] пироги были назначены с икрой, а сделаны с фаршем; суп был с молоками, да еще, сверх расписания, холодное из рыбы. Просто — нас лакомят! А что студенты пьют чай до часов[124], причем получа-

---

* Мод. Станисл. Нагловским, племянником помещика Леонтьева. Напечатана в кн. «О правосл<авии> в отнош<ении> к соврем<енности>»[121].

ют и порции белого хлеба, так это делается совершенно с ведома о. инспектора. О. Вениамин еще не делает явных перемен, и особенно — отменения прежних распоряжений; но одна молва о его строгости уже много сделала изменений; так, я воспользовался его именем и авторитетом, чтобы отучить своих студентов» (т. е. студентов своего номера) — «оставлять книги где ни попало: на диванах, столах и конторках; прежде я не вступался в это, потому что начальство не делало на это замечаний; значит, явно было бы, что я налагаю требование чисто в свое удовольствие. Но, конечно, много будет нового, когда он будет утвержден формально».

«Я уже как-то примирился с мыслью, что мы не дослушаем курс о. Феодора. Сначала было это меня очень поразило. В прошедшее воскресенье он, между прочим, в утешение мое о предполагаемом скором разлучении, высказал и то, что уже довольно нам и передано; довольно мы можем найти его системы по разным местам, и это правда: Шестоднев[125], Ап. Павел, третье письмо к Гоголю заключают почти всю его догматику; теперь только очень жаль, что он не успеет, вероятно, прочитать нам о Церкви, не успеет просмотреть ряд наших поучений о таинствах и — не возвратились еще к нему не читанные нами и нигде не списанные письма о праздниках, заключающие в себе нравственное богословие; особенно жаль последнего! Если бы можно было, право, решился бы еще год проучиться в Академии, только бы дослушать его!»

Все перечисляемые здесь сочинения о. Феодора в разное время уже напечатаны. Проповеди студентов о таинствах, о которых и выше говорилось, или не были собраны и доставлены о. Феодору, или оказались настолько неудовлетворительными, что не были использованы, как это имелось в виду, и «Письма о благодати таинств» написаны были впоследствии самим о. Феодором.

(*1857 г. Апр. 6–10-го*). Письмо наполнено описанием прибытия в Академию нового ее о. ректора — архимандрита Иоанна (после епископа Смоленского, известного канониста), явившегося в Великий Четверг. «В среду я исповедовался у того же о. Иоанна; на вечернем правиле (его вычитывают у нас обыкновенно на малом повечерии[126], пред утреней) акафист[127] Божией Матери читал для нас о. Григорий, а утреннее правило все читал сам о. Феодор перед часами. Служба в Вел. Четверток началась у нас в 8 часов. Кроме студентов и некоторых служащих при Академии, в нашей церкви причащались Софья Дм., На-

т<алья> Ив., Александра Ив. и Ант<онина> Ив.; Пет<р> Ив. и Алекс. Ив.[128] накануне исповедовались после обедни в церкви у о. Феодора и, вероятно, остались очень довольны своим новым духовником, потому что уехали в слезах и исповедовались очень долго».

«В Вел. Субботу в 9 часов собрались» (в церковь) «желающие студенты, пришел о. инспектор и начал читать Кн. Деяний и прочитал всю, потом я почитал немного, и уже было половина 12-го; я пошел одеваться».

Затем идет ряд кратких заметок о пасхальных днях.

По приезде о. инспектора от архиерея мы (старшие из всех номеров) «были у него; он только что располагался закусить, разговеться[129] прежде отправления с визитом к губернатору; пригласил и нас закусить с ним. "Вина я не ставлю, — сказал он, — потому что о. ректор строго смотрит на это". Но потом не вытерпел: "Нет! хочется мне вас попочтовать <так!> вином; Кирилл! подай-ко сюда вино!"»

«Вечерню и всенощную» (на второй день Пасхи) «служил ныне о. инспектор, а о. ректор не был даже и в церкви. Зато ныне был за обедней (т. е. о. ректор), а служил обедню о. инспектор».

(*На третий день Пасхи*). «У нас в 6 часов должна была начаться всенощная, и хотя она была необязательная, хотя студенты были уволены, и я записался до 8 часов, но о. инспектор сказал, что кто находит быть полезнее у всенощной, тот чтобы возвратился к 6 часам; а мне и самому не хотелось бы пропустить всенощной. Но, конечно, тотчас после обеда уйти было неловко*, и, возвратясь в Академию, я всенощную застал уже на 9-й песни».

(*Среда Пасхи*). «Службы у нас ныне не было, и вчера всенощная была для о. Феодора и о. Вениамина, которым ныне надобно было служить в соборе».

«Недавно я имел случай узнать рекомендацию мою, сделанную о. Диодором» (помощником инспектора в его двухмесячной ведомости о характере и поведении студентов), «он дал мне рекомендацию человека, который "дает себе отчет во всех своих словах и поступках", — рекомендация не очень лестная для меня, но со стороны о. Диодора вполне справедливая; потому что с ним я действительно очень осторожен не только в поступках, но и в словах, опасаясь от него, конечно, не зла какого-нибудь, оттого что он человек с добрейшим сердцем, но его

* Обедал я у Корсаковых.

петербургской наклонности все осмеять, для красного словца. Не знаю, какого ныне обо мне мнения о. инспектор, а прежде, пред окончанием младшего курса, он очень и даже очень невысоко ставил меня в списке поведения, который представляют здесь инспектор и его помощник. Это тогда же мне намекал и окончательно высказал необузданный болтушка — о. Вениамин, когда я сидел у него после ужина очень долго в Вербное Воскресенье[130], принесши свою месячную ведомость. Он все хотел убедить меня, что о. Феодор по своим религиозным убеждениям не дойдет до добра, если не переменит их. Но этот факт, выставленный им, гораздо более говорил против его убеждений, потому что о. инспектор был гораздо проницательнее и вернее в своем взгляде на меня, чем о. Вениамин, настоявший, чтобы поставить меня в числе первых, если не первым, по поведению. Из обращения о. Феодора нельзя ничего заключить, потому что он почти одинаково хорош со всеми, всегда равно добр ко мне и даже особенно добр бывает с теми, в которых замечает особенные нравственные недостатки, потому что "*не требуют* более *здравые* такого попечения *врача*, как особенно *болящие*"[131]».

(*1857 г. Апр. 14–17-го*). «В заключение и дополнение ко всему, что сказано об о. ректоре» (новоприбывшем архим. Иоанне, сказано в этом письме), «приведу еще обстоятельство, наделавшее у нас немало шума в Академии. Я писал Вам, что во вторник на Пасхе у нас была всенощная для о. инспектора и о. Вениамина. Тогда, пришедши поздно от Корсаковых, я не слышал того, что было перед всенощной, и услыхал уже после: о. Григорий, пришедши в 6 часов в корпус*, послал себе преспокойно благовестить, не спросясь даже о. инспектора, который, вероятно, отслужил бы всенощную без шуму. О. ректор, выглянув в форточку, прогнал служителя, который принялся благовестить». (Два столбика с перекладиной и навесом над ними, на которых висел академический колокол, стояли как раз пред окнами ректорской квартиры, помещавшейся в нижнем этаже главного академического корпуса.) «Несколько студентов пришли в церковь. Но о. Григорию, верно, показалось мало, и он послал вверх — пробить звонок. Это, должно быть, окончательно вывело из себя о. ректора: он позвал о. эконома и сделал ему допрос: кто позволил отпереть церковь? как смели

* В главный академический корпус; а в двух флигелях помещались профессорские, бакалаврские квартиры и больница.

благовестить? зачем сзывали студентов? что за всенощная? службы не положено! Конечно, все пало на о. инспектора. “Запереть церковь!” О. эконом доложил, что уже собрались студенты. Тогда о. ректор велел послать наверх, чтобы, по крайней мере, кто не пришел еще, чтобы они не ходили; а для других подтвердил, “чтобы вперед без его приказания никто не смел пальцем шевельнуть в Академии!”»

«Преосвященный Агафангел на другой же день после своего посвящения, 1 апреля, написал к Корсаковым и к о. инспектору. О. Феодору писал, что старался было о его назначении в Петербургскую семинарию, потом — в Новгородскую, потом — в Пензенскую; но так как всюду уже назначены или, по крайней мере, предназначены уже были другие, то успокаивает его и пишет, что получил от обер-прокурора поручение — написать новому о. ректору, чтобы он “обращал особенное внимание” на о. инспектора».

Если действительно последовало такое начальственное воздействие на о. Иоанна, то — можно быть уверенным, что оно имело действие как раз противоположное желаниям графа А. П. Толстого и Преосвящ. Агафангела. Очень может быть, что история по поводу всенощной на третий день Пасхи была именно проявлением «особенного внимания» обер-прокурора Св. Синода к о. Феодору и этой рекомендации.

Но о. Феодор, с младенческой простотой и непониманием, нисколько не изменил своих отношений к о. ректору после сурового напоминания со стороны последнего о своем начальническом величии и самодержавии; другой ограничил бы свои отношения к ректору пределами крайней необходимости; о. Феодор, как и прежде, чтит в нем волю начальника, например не противоречит его требованию абсолютной трезвенности от студентов, хотя не может и утерпеть, чтобы не угостить студентов вином; как и прежде, он является просителем за своих студентов. Под 1 мая у меня записано: «Поздравьте нас: первый майский день и первая рекреация; вчера о. инспектор сходил к о. ректору и выпросил для нас рекреацию, с тем чтобы вместе была и служба; о. ректор согласился, и таким образом у нас рекреация сделала праздник, тогда как обыкновенно в Преполовение[132] мы учились».

(*1857 г. Мая 8/12-го*). «Часов в 6» (в Николин день — 9 мая) «я пришел явиться к о. инспектору» (после отлучки из Академии для прогулки в поле; так как с некоторого времени выходы не только в город, но и в поле разрешались по записи в

книге отлучек). «Он попочтовал <так!> было меня чаем, но я отказался, сказавши, что уже пил; тогда он велел мне разрезать пополам лежавший перед ним огромный апельсин (я никогда не видал еще апельсинов такой величины). Я сказал ему о кончине Фл<егонта> В<асильевича Владимирова>; я имею обыкновение всегда сказывать ему о близких почему-нибудь ко мне покойниках, в полной уверенности, что он непременно помолится о них. О. инспектор сказал мне, что к о. Вениамину писал Ярославский ректор[133] молву, будто его (о. Феодора) переводят в Новгород, вопреки известию, которое так положительно передавал Преосвящ. Агафангел, что в Новгород назначен Пензенский Евпсихий. Да и теперь... к о. Вениамину письмо о. А<нтония> пришло во вторник, а в среду о. инспектор получил письмо от Преосвящ. Агафангела, и тот ничего ему не пишет. Это известие несколько опечалило меня; теперь у меня все вертелось на уме попросить, по крайней мере, чтобы о. Феодор, оставя репетиции, сказал нам побольше вновь из догматики, сколько поспеет. Потом он перешел к празднику, к образу, что в Пермяках[134], к церковно-статистическим описаниям епархий, и в частности — Нижегородской, для которого <так!> так давно собраны материалы, но составление которого поручено лицам, и без того заваленным работой и должностями. “Вот, — займитесь-ка вы этим делом”, — сказал о. Феодор. — “Да, В<аше> В<ысокопреподобие>, — отвечал я, — если бы Бог привел мне поступить на службу в Нижний”. — “Нет, батюшка, не говорите так, — сказал о. Феодор, — а лучше пусть случится так, как будет Богу угодно”; и к этому рассказал историю одного своего земляка и товарища по Академии, у которого именно Сам Бог устроил судьбу за то, что он безусловно предавал ее в руки Божии. Я еще вчера же решился написать Вам эту историю, потому что она, послужив ответом на весь предшествовавший разговор наш, служит с тем вместе прямым продолжением того, что написано мною на первой странице письма. Александр Матвеевич Бухарев (ныне о. Феодор) и Вас. Фед. Владиславлев еще в Семинарии были особенно дружны между собой; вместе их послали и в Московскую академию; это еще в первый раз вызвали в Москву из Твери». Здесь в письме идет та характеристика В. Ф. Владиславлева и тот рассказ о видении ему Божией Матери, которые приведены мною выше, в предисловии к настоящим воспоминаниям, напечатанном в июньской книжке «Богословского вестника» за 1905 г.[135] Пропускаю этот эпизод из жизни В. Ф. Владиславлева и перехожу прямо к рассказу о. Феодора относительно устроения Самим

Богом жизни тех, кто вверяет судьбу свою Господу. «Когда мы окончили курс, — продолжал о. Феодор, — меня как монаха оставили при Академии, а Василия Федоровича назначили в Вильну — вон куда! — а он окончил курс вторым; первым кончил курс московский — И. И. Побединский, — а я третьим; но так как бакалаврская вакансия была тогда одна, то оставили меня, а Побединского на время послали в Московскую семинарию. (После и он вскоре поступил в Академию.) Несмотря на то, ни тот ни другой не имели и тени какого-нибудь неудовольствия на это. Еще и года не прожил Василий Феодорович в Вильне, как у нас в Твери помер кафедральный протоиерей. Преосвященный Григорий очень любил покойного и позволил вдове его приискать жениха своей дочери на это место[136]; а у ней были две дочери-невесты; одна — полная невеста, ее звали Софьей, а другой, Марье, недоставало только несколько месяцев до 16 лет; только Владыка требовал, чтобы она нашла непременно магистра. Случись же, что в ту пору у нас не было магистра такого; если магистры, так они были женатые, а холостые-то — все кандидаты. Тогда они и вспомнили об Василии Федоровиче, с которым покойный протопоп с год тому назад познакомился где-то в гостях. Тогда Василий Фед. так понравился покойному, что тот, возвратившись домой, говорит своим домашним: "Вот так я ныне видел человека! вот так это человек! этаких людей ныне поискать!", а еще они ему говорили: "Ну, какого еще ты там отыскал! так уж только и света, что в окошке" и т. п. Но теперь вспомнили и об этом отзыве покойного и решились сделать Василию Федоровичу предложение; впрочем, предварительно сказали Преосвященному Григорию, который сам знал и любил Василия Федоровича и одобрил их решение. Василий Федорович, получив такое предложение, был в крайнем затруднении, потому что невесты он не видал никогда, а между тем надобно было теперь же оставить училищную службу, значит, решить свою судьбу. Он обратился за советом к одному доброму человеку, дружбу которого он успел уже приобресть и в Вильне благодаря своему характеру. Этот прежде всего посоветовал ему держать дело в строгой тайне, потому что в Вильне засмеяли бы такой заочный выбор невесты; но от себя советовал — решиться». (Должно быть, и тогда Вильна была уже ближе к Европе XIX века, а Тверь жила еще по заветам Московских царей и Тверских великих князей.) «Василий Федорович послал свое согласие и в то же время писал к о. Феодору, чтобы он помолился за него. "Не об том, — писал он ему, — помолись, чтобы мне Бог дал счастья в невесте или в будущей

судьбе; нет! — а об том помолись, как и сам я молюсь теперь, чтобы и в этом исполнилась надо мной воля Божия". Пока шло дело об увольнении его от училищной службы, он успел уже познакомиться с своей невестой — письменно; они писали друг к другу. Но в дом покойного протоиерея был вхож еще один наставник, И. И. Сокольский, человек легкий и живой, только несколько, этак, легкого характера (впрочем, и он теперь, слышу, живет хорошо). Ему очень приглянулась старшая дочь — Софья; да как видно, и она тоже не прочь бы от него; но, беда в том, что он был кандидат. Однако Сокольский предложил матери, что нельзя ли ему взять Софью, а Василья Федоровича просить, чтобы он взял Марью, которой оставался только один месяц до 16 лет, представляя при этом, что Софью он берет и без места, а для другой дочери самое место, за ней зачисленное, послужит обеспечением; между тем как, если место предоставить Софье, другая дочь останется на руках матери с сомнительной будущностью. Положено было хранить дело в секрете до приезда Василия Федоровича. Вас. Фед. приехал и через час по приезде был уже в доме невесты. Но видит мать, видит меньшую дочь, а своей невесты не видит; замечает притом, что они находятся в каком-то затруднительном положении. Как человек прямой, он не вытерпел и — попросил показать наконец ему его невесту; "но, — прибавил он, — я вижу, вы чем-то затрудняетесь; быть может, вы нашли во мне не то, что ожидали встретить, или — быть может — другое какое-нибудь случилось обстоятельство; скажите, пожалуйста, откровенно; неужели вы думаете, что я не могу отказаться, если это будет нужно, и — только потому, что оставил уже училищную службу". Тогда-то наконец матушка предложила ему приготовленную для него невесту, которая стояла перед ним. Василий Федорович мог только засмеяться и сказать, что ведь он свою прежнюю невесту знает, пожалуй, еще менее, чем эту, а с этой имел время познакомиться, пока ожидал старшей сестры. Итак, как это обыкновенно бывает в романах, где выводятся две сестры, и настоящая история окончилась двумя свадьбами. О. Феодор прибавил, что Василию Федоровичу досталась лучшая из сестер и по наружности, и по характеру; да и в жизни-то больше любит своего мужа. Обе сестры приезжали с Василием Федоровичем в Троицкую Сергиеву Лавру и останавливались в келье о. Феодора. Вот какую написал я Вам длинную историю; не думаю, чтобы Вы остались этим довольны, но ведь, все равно, описываю же я Вам иногда разные разговоры в тех домах, где я бывал, не касающиеся ни Вас, ни меня; а этот рассказ произ-

вел на меня сильное впечатление и служил ответом на мои задушевные мысли; конечно, такое действие много зависело от того, что рассказывающий был о. Феодор. (Он был в особенно добром расположении, когда рассказывал это, и мы так хохотали при некоторых местах рассказа, как я давно не смеялся.) Но от чего бы ни зависело такое действие, этот рассказ, во-первых, успокоил меня удивительным образом относительно вероятной скорой разлуки с о. Феодором, а во-вторых, с особенною силою утвердил во мне ту мысль, мысль, и прежде глубоко запавшую мне в душу, что часто мы не знаем, чего просим, и нередко случается нам раскаиваться в том, что дело наконец, благодаря нашим усиленным стараниям, устроилось так именно, как мы того хотели, вопреки всех трудностей, представлявшихся нам (*обстоятельствами*...) в исполнении наших желаний. После этого рассказа я почувствовал в себе решимость — по крайней мере — не противодействовать упорно высшим назначениям и доверчиво принять как лучшее то, что дадут, если нельзя будет получить того, чего хочется. Что Бог устроит, то и будет лучшее».

Из дальнейших слов письма видно, что эти общие рассуждения имеют отношение к выбору и решению, которое предстояло мне при окончании академического курса и которое не могло не тревожить не только меня, но и моих родителей, особенно мать мою. Дело в том, что слова о. Феодора: «Меня как монаха оставили при Академии», хотя «я окончил курс третьим», а «бакалаврская вакансия была тогда одна», — эти слова могли иметь ко мне ближайшее отношение: я тоже оканчивал курс третьим, а бакалаврская вакансия при Академии тоже была одна. И хотя родители мои не могли знать этого положения дел с такою определенностью, как я, но и у них не могло не возникать опасения, как бы и меня не «оставили при Академии — *как монаха*». Вот почему я чувствовал, что мне следовало, для успокоения родителей, высказаться более относительно этого предмета, и продолжал письмо так: «Что Бог устроит, то и будет лучшее!.. О. инспектор согласился с справедливостью моего представления, что полезнее будет преподать нам, сколько Бог поможет, вновь, далее чем заниматься повторением. Но при этом напомнил, чтобы я и в других утверждал те же начала, когда придется преподавать, “если, быть может, останетесь здесь, или в другом месте где-нибудь будете”, — прибавил он. Не подумайте, пожалуйста, чтобы меня ослепила или прельщала подобная карьера. Быть может, Вы подумаете: “А! так вот причина такой готовности подчиниться воле высших!” — Нет, у

меня при этом возникла совсем другая мысль: “А! — подумал я, — если уже начинают так говорить, так, значит, мне можно и умышленно поспустить несколько рукава; пусть на меня поспадет курс; быть может, это пригодится”. Кроме того, что я чувствую себя и неспособным занять, по доброй совести, место преподавателя при Академии, да это место и не по моему здоровью, потому что, если заниматься добросовестно, здесь бакалавр к каждому классу должен приготовить сочинение, равное — и по объему, и по содержанию — доброму месячному сочинению. При этих словах о. Феодора я даже порадовался, что сочинение мое о. Вениамину вышло положительно дурно, так что мне совестно даже нести к нему за два месяца три листика с небольшим выписанного из русских книг, да и то не на предмет. “Пусть его! — подумал, — какое право он имел поставить меня вторым пред прошедшим экзаменом, когда он не видал еще от меня сочинений моих по его предмету”».

Как мне пришлось через несколько времени выбирать и решать свою судьбу на всю жизнь по вопросу об оставлении моем при Академии, мне придется еще сказать далее в своих выписках из писем того, что имеет отношение к о. Феодору; не тот или другой рассказ, не та или другая беседа о. Феодора в частности, имели влияние на это и последующие решения моей жизни, но собственное его отношение к жизни, и в текущей ее действительности, и в повествованиях о ней, имело властительное действие на души тех, кто приходил в непосредственное с ним соприкосновение. Так и этот рассказ о детском доверии В. Ф. Владиславлева к указаниям Божиим в «обстоятельствах» нашей жизни, несмотря на диаметральную противоположность характеров — владиславлевского и моего, поддержал, быть может, и мою веру, когда через 5 лет мне предстало избрать решение на весь остальной жизненный путь — принятием священства. Но не какие-нибудь 3 недели, а 3 года постоянной переписки с невестой потребовались для меня, чтобы сделать ей предложение — стать женою священника. Все частности владиславлевской истории — и зачисление протоиерейского места за сиротой с архиерейским требованием жениха-академика, и брак по любви вместо брака по зачислению, только совершенно в иной комбинации, — повторились в моей жизни[137]. И без воспитательного влияния веры о. Феодора едва ли вышел бы я победителем из одинокой борьбы со всегдашним моим сомнением в себе и маловерием!.. Продолжаю выписку:

«У о. инспектора просидел я до 9 часов. Перед прощаньем он спросил меня, читал ли я в “Православном собеседнике”

беседу о. ректора[138]? Я даже не знал еще, что вышла уже книжка, потому что в прошедшее воскресенье она была у нас еще в корректуре. О. Феодору очень понравилась эта беседа о. ректора, и, почитав ее несколько со мной, он сумел (как и всегда) своим чтением показать в ней особенную глубину и силу в тех местах, которые я прочитал бы без него как фразы, как общие места. В самом деле, беседа очень хороша; о. ректор объяснил всю беседу Иисуса Христа с женою Самарянкою в приложении к расколу. О. инспектор дал мне прочитать ее на дом».

(*1857 г. Мая 13/16-го*). «О. Вениамин сказывал, что о. Антоний Радонежский представлен вторым кандидатом на Тамбовскую епархию[139]. Объяснилось несколько дело и об о. инспекторе: прежде о. ректор писал о. Феодору, что не успел вовремя приложить свои старания о переводе его на место ректора в Казанскую академию или хотя <бы> в Петербургскую семинарию, потому что с о. Иоанном он встретился еще на дороге, а в Петербургскую семинарию назначен уже был Нектарий. Далее следовало говорить о месте Нектария; но о. ректор, вероятно, этого места просил не для о. Феодора, а прочил его Пензенскому о. Евпсихию, с которым он "почему-то" — говорил о. Вениамин — находится в приятных отношениях. Потому-то, конечно, Преосвящ. Агафангел очень глухо выразился в письме своем к о. Феодору о Новгородском месте: на это место уже предположено, писал он, перевести о. Евпсихия. Но, когда митрополит Григорий, как видно, наотрез отказал перевести в Новгород о. Евпсихия, тогда Преосвящ. Агафангел стал хлопотать об этом месте для о. Феодора, вследствие чего и начала распространяться "молва", о которой писал о. Антоний к о. Вениамину. Дай-то Бог, чтобы не удались им все эти старания, чтобы о. Феодор не вышел из Академии до самого конца нашего курса! Ну, уже там об следующем курсе нечего заботиться; быть может, и нехорошо было бы прилагать *приставление ново к ризе ветсе*[140]; пусть будет цельное; *аще небы пришел и глаголал* он, *греха не быхом имели*, быть может, и мы; *нынеже* извета *не* будем *иметь* о *гресе* малодушной лености и раздвоения между верой и жизнию[141]. Еще когда-то они поймут его! Да и самому о. Феодору, хотя он думает, что в семинарии ему будет легче (так что, говорил некогда, что хоть бы на Амур куда-нибудь, только бы вырваться), на самом деле в семинарии ему будет еще тяжелее: здесь все-таки больше благородства, все побольше берегут его, а в семинарии!.. Притом здесь еще понимают его, хоть немногие, которые ловят каждое его слово, да и все по временам

невольно увлекаются, так что иногда притихают возня и шум, которыми хотят выгнать его из класса, когда он уже слишком долго продержит после звонка, а нередко случается, что он, увлекшись, держит целых полчаса лишних после звонка; что́ же было бы в семинарии: ученики не поймут из его слов и десятой части; наставники все отлились уже каждый в свою форму и — устарели, обленились, не захотят перестраивать своих познаний и убеждений. Я убежден: о. Феодору будет там еще тяжелее».

«Сейчас слышу, что из Казанской академии требуют 8 человек для миссии в Иерусалим; хорошенько еще этого дела не знаю. Если бы любовь к Вам не привязывала меня, с каким удовольствием поехал бы я туда».

(*1857 г. Мая 17–23-го. Перед Троицей*). «Вчера (20 мая) меня Бог привел быть за всенощной в Спасском монастыре у Святителя Варсонофия. Около 6 часов с небольшим меня, по должности старшего дежурного, позвал кое за чем о. инспектор, тогда как в городе и около нас по всем церквам звонили ко всенощной. Исправив поручение, я вздумал при удобном случае попроситься у о. инспектора ко всенощной, а он предложил — не хочу ли я отправиться с ним вместе в Спасский монастырь. Я был очень рад и, наказав своему помощнику сделать ужин без меня, если — на всякий случай — я к 9 часам не поспею, отправился. Приехали мы — читали кафизмы. О. инспектор сам стал на коврик у раки мощей Святителя, а мне велел пойти на солею[142], где также заметил коврик, чтобы я не простудился с ног на холодном каменном полу. Всенощная отошла в 8 часов; о. инспектору нужно было зайти к Преосвященному». (Преосвященному Никодиму, викарию, который в Спасском монастыре настоятельствует и имеет пребывание.) «Я было просил позволения — отправиться домой пешком, представляя, что Владыка непременно задержит его, но о. инспектор обещался пробыть недолго и предложил мне зайти вместе с ним ко Владыке. Еще в церкви после всенощной, когда я принимал благословение у о. Климента, бывшего ректора Казанской семинарии, он спросил о. инспектора, студент это или профессор; Владыка повторил тот же почти вопрос, а о. инспектор объяснил причину — почему он захватил меня с собой в комнаты Его Преосвященства: Владыка сидел в своей гостиной, в креслах у отворенного балкона. О. инспектор поклонился Владыке в землю, как самому Христу; а я, не рассмотрев хорошенько его поклон, сделал только метание».

Архиереям, стоящим у власти, о. Феодор, являясь к ним, не делал земных поклонов, а Преосв. Никодим почему-то был у всех в почтительном пренебрежении; даже и служки монастырские исполняли обряд подобающего к архиерею обращения как-то в минимальных размерах. И у начальства своего Преосв. Никодим был как-то в загоне. Но думаю, что причину особенно почтительного отношения о. Феодора к Преосв. Никодиму нужно искать не столько во внешнем малопочетном положении викарного архиерея, не пользующегося значением, но и в личных свойствах Преосв. Никодима. О. Феодор собственным примером обыкновенно поддерживал в других подобающее сану уважение, когда были основания к опасению, что другие не почтут Христа в лице того или другого священнослужителя.

«Владыка велел нам сесть; я поставил кресло о. инспектору против Преосвященного, а потом, по вторичному приказанию его, сел и сам. О. инспектор принес Преосвященному для прочтения курсовое сочинение Годяева о крюковом пении [143], приготовляемое к напечатанию в "Православном собеседнике", и просил у него для прочтения какого-то его сочинения. Мы просидели до половины 10-го, и Владыка все это время говорил неумолкаемо, так что, если бы и я был на месте о. Феодора, и я не нашел бы времени подняться с кресел без нарушения деликатности. Наконец сам Преосвященный сказал: "Ну, о. архимандрит, ведь я все с вами говорю, а мне завтра служить", — и мы сделали ему прощальный земной поклон. Много бы другой вынес смущения и осуждения после беседы Преосв. Никодима, но о. инспектор, выходя, сказал мне, что он всегда выносит от него назидание; я только подивился, как он не соблазнился. Но он во всем слушает слова Самого Христа; а Владыку и особенно слушает в таком именно настроении, потому все в его глазах принимало другой вид. И это не то, чтобы намеренное оправдание, желание перетолковать в добрую сторону, защитить человека от обвинений, нет! это бы тотчас же можно было заметить и не в таком детски-простодушном человеке, как о. инспектор; видно, что он передает свое понимание, свое воззрение на слова, как свое задушевное убеждение. Когда мы ехали, он спросил меня, все ли я понял, что говорил Преосвященный. "Все", — отвечал я. О. инспектор улыбнулся; долго потом с улыбкой посматривал на меня, думая о том, как я понимаю слова Преосвященного. Минут через 10 он спросил: "А ну-ко я вас поэкзаменую; как вы, например, поняли то, что он говорил, что — по его богословию, — священство не снимаемо?" (Преосвященный, помнится, об этом так и выразился словами

Церкви Западной: Signum indelebile*.) — Я должен был признаться, что не понял, чтобы не сказать правды, что я понял эти слова прямо как неправильное мнение Преосвященного. О. инспектор объяснил мне, каким образом это может быть, объяснил, не отвергая православного учения о возможности и о действительности случаев снятия священства. Потом объяснил также резкие отзывы Преосвященного о Св. отцах и правилах покаяния. Остальную половину этого разговора мы докончили уже, ходя по коридору, до 10 часов с лишком. Когда мы приехали, студенты не только отужинали, но уже и помолились».

«На другой день, т. е. во вторник, после первого класса я принес к о. инспектору конспект и застал у него о. Тихона, бывшего нашего товарища по расколу. Преосв. Григорий для удобства занятий перевел его из села, где у него был очень хороший приход и свой домик, в Казань на кладбище». (Кладбище — против самой Академии; так Преосв. Григорий перевел сюда о. Тихона «для удобства занятий» в Академии на противораскольническом миссионерском отделении.) «И здесь его полюбил весь город, так что сильно хлопотал пред Преосвящ<енным>, не определит ли он его к Егорьевской церкви. Но Преосв. Афанасий не захотел отменить воли Преосв. Григория, который посылает о. Тихона обращать раскольников в Чистополь, где он будет получать жалованье — меньше того, сколько на кладбище получит дьячок. О. Тихон пришел проститься. И я простился с ним; а когда он ушел, о. инспектор высказал мне свой взгляд на его судьбу, которая прежде служила для меня предметом соблазна и осуждения, как один из примеров деспотизма, не соглашающего частных интересов с пользою общею. Потом он говорил о многих других предметах или сам, или вследствие моих вопросов. Мы проходили с ним весь класс и все время большой перемены, т. е. часа полтора. Как много еще будет недослушанного, неуясненного для нас, если его от нас переведут, а между тем он так тяготится своею должностью в нашей Академии, что (тут же он признавался мне) постоянно молится, чтобы его Господь куда-нибудь перевел в другое место, хоть бы в Иркутск, хоть бы на Кавказ. В этот раз я просил его уяснить мне состояние душ отшедших, почему они так связаны, что только при посредстве нашем могут получать разрешение».

«Вот и я возвратился из путешествия» (в город). «Сначала отстоял обедню на кладбище, потому что дальше идти было

---

* Неизменяемый знак (*лат.*).

уже поздно, после того как о. инспектор встал и принял меня. И то, вовсе было он отказал мне в отпуске, да — спасибо — пришло ему на ум, что должен же я надзирать за студентами и в других местах, а не сидеть в Академии, где остались почти одни стены» (это была последняя рекреация). «Произведши моего помощника в испр<авляющего> долж<ность> чередного старшего, я отправился»...

«Дописываю 24-го числа поутру. Вчера о. инспектор вечером, когда я приходил с журналом, дал мне 2 апельсина».

(*1857 г. 5–14 июня*). «Вчера меня спросил к себе о. инспектор. Сам он отправился в институт к А. И. Д.[144], где обещалась с ним увидеться и С<офья> Д<митриевна Корсакова>; а мне поручил отвезти к Преосвященному Иосифовский требник, который он просил у него, и — Макариевский еще, на всякий случай[145]. Мы отправились часов в 7, в коляске о. ректора. Высадив о. инспектора у института, я отправился далее, но, затрудняясь экипажем, я предложил о. инспектору — не отослать ли экипаж тотчас же по приезде, потому что я был уверен, что Преосвящ<енный> не отпустит меня скоро. О. инспектор одобрил мою мысль, но велел мне не тотчас отпускать экипаж, а — в том случае, если увижу, что Преосвященный действительно намерен задержать меня. Приехав в Спасский монастырь, я не знал, как благодарить о. инспектора за его совет — не тотчас отпускать коляску, потому что Преосвященный, как я узнал, живет ныне в Феодоровском монастыре[146], в его комнатах в Спасском монастыре делаются поправки: перестилают полы. Что бы я стал делать, оставшись в Спасском монастыре с двумя огромными книжищами, которые я едва мог дотащить от коляски до двери; привелось бы тащить их до Феодоровского монастыря, которого я, в придачу, до сих пор еще и не знал. Но теперь мы отправились в Феодоровский монастырь все в той же Иосифовой колеснице, мы, т. е. я и книги». (После описания приема у Преосвящ<енного> в Феодоровском монастыре я оканчивал рассказ об исполнении этого поручения.) «Вечером, часов около 10, когда о. Феодор возвратился, я пришел сказать ему об исполнении его поручения и — как он наказывал мне пред отправлением туда — пересказать, что говорил со мной Преосвященный. Он объяснил мне потом слова, которые я ему пересказал. Я пробыл у него дольше 11 часов».

Так озабочивался о. Феодор, чтобы не осталось какого-нибудь соблазна или недоразумения как последствия беседы с столь уважаемым им Преосвящ. Никодимом. В объяснение этого мож-

но сказать, что это был тот самый Преосвящ. Никодим (Казанцев), после епископ Енисейский, дневник которого и записка о Синодальном управлении могли явиться в печати только в недавнее время[147], по независимости его взглядов и по резкости их выражения.

(*1857 г. Июня 15-го*). «Итак в субботу, вместо экзамена» (который, по болезни о. ректора, с субботы перенесен им был на вторник), «я отправился в церковь на кладбище. Возвратившись в 9 1/2 часов, нахожу, что нам дано предложение: "Постоянная борьба Церкви с ересями и расколами приносит ли какую-нибудь пользу самой Церкви?" — с прибавлением (также рукою самого о. инспектора), чтобы подать всем непременно к часу, когда они и будут представлены о. ректору. Дано в 9 ч. утра». Слово «также» заставляет думать, что и предложение было написано рукой о. инспектора; но едва ли можно сомневаться, что придумано и редактировано было оно для нашей миссионерской Академии самим ее новым ректором. «Чуть-чуть я успел окончить к часу свой поллистик, а прочитать его даже и не успел, хотя, как увидал потом, можно было бы подать и после обеда, потому что о. инспектор, как видно, не желая обидеть тех, которые не поспели написать к сроку, отнес наше сочинение о. ректору уже после 4 часов. Часов в 10 вечера пришел от о. инспектора Павлов с известием, что о. ректор уже сдал о. инспектору наши сочинения, чтобы отдать их для прочтения о. Григорию. Но и сам он прочитал 3 сочинения: Павлова, Соколова и мое. У Павлова сочинение было написано вполне в духе и по мыслям о. Феодора. О. ректор подчеркнул в нем все выражения, свойственные о. Феодору. (Он еще в Петербурге слышал об о. инспекторе, и здесь — очевидно — старается делать все наперекор ему, не потому, чтобы между ними были личности[148], но по диаметральной противоположности их направлений. О. Феодор, высказывая Павлову свое удивление на эти поправки или замечания о. ректора, рассказал, между прочим, что однажды о. ректор, будучи цензором, исчеркал проповедь и у самого Преосвященного Филарета, митроп. Московского, хотя потом его и заставили отказаться от своих поправок. А о. Феодор того же направления, исключая того, что он обвиняет самого митрополита в идеализме; потому понятно, что о. ректор исчеркал сочинение Павлова.) Однако он не высказал никакого суждения о его достоинстве и только написал вверху карандашом: "Выражения неясны и неопределенны". Павлов утешен оправданием и сочувствием о. Феодора. Он немного

прогадал: он думал, что сочинение будет читать сам о. Феодор, — и за то был наказан. Я писал, воспользовавшись только мыслями о. Вениамина, высказанными в начале его церковной истории, о *развитии* в Церкви и христианстве, хотя также с понятиями, уже несколько уясненными чрез уроки о. Феодора. Потому, как я после увидал, результат у меня вышел мертв и сух, как и все, что выходит из направления мертвой законной буквы, не оживленной духом и силою. Все приобретение Церкви от борьбы с ересями и расколами, по-моему, вышло только в логическом определении догматов, в отчетливом понимании обязанностей. Сам вижу — результат, не стоящий борьбы и потерь, понесенных Церковию в этой борьбе. Нет, Господь-победитель что-нибудь да большее извлекает из победы Церкви. Потом, от собственного разумения, я указал на то, что борьба Церкви с ересями и расколами предохраняет верующих от направления рационалистического и индифферентизма. Как подтверждение моей мысли, я сопоставил настоящее состояние христиан в Церкви Греческой, постоянно боровшейся с ересями и расколами, и — западных христиан, припомнив, как первосвященники римские гордились чистотою Церкви Римской от ересей и укоряли греков. Но, предполагая, что о. ректор не утерпит, чтобы сочинений трех не прочитать самому, я всего больше старался об осторожности в выражениях, помня, что о. ректор приехал из Петербургской придворной академии, да — что и сам он — церковный дипломат. Следствием было то, что на моем сочинении о. ректор вверху, также карандашом, написал: “Порядочно; впрочем, есть несколько мыслей неправильных”, которые он и подчеркнул, например сопоставление Церквей Восточной и Западной. На сочинении Соколова написано только вверху: “Ничего не связано”, и ничего нигде даже не подчеркнул».

«Четверг. Я записался было в город за покупками с намерением зайти в собор и там постоять обедню, сколько застану, а потом и действительно за покупками. Заутреню и обедню стоял я в алтаре; служба у нас была вовсе не праздничная; заутреню служил один о. эконом; благословения хлебов не было; обедню служил о. инспектор тоже с одним о. экономом; в церкви не было не только никого посторонних, никого почти не было и студентов, потому что человек 20 записались к обедне в собор; записались, правда, но уволены не были, а ушли — не дождавшись увольнения, в котором были заранее уверены; а о. инспектор написал: “Не дозволяется, потому что опасно отпускать к обедне из дому тех, которые и дома ленятся ходить к богослужению”.

Хотя я и еще двое записывались и не в церковь, однако — вместе с другими — и мы подпали под то же запрещение».

1857/58 УЧЕБНЫЙ ГОД

(*1857 г. Сент. 6-го дня*). «Четвертый год в Академии». «Умывшись немного» (с дороги, при возвращении из дома после каникул в Академию) «и переодев сюртук, я отправился к о. инспектору, но он еще не выходил. Между тем о. Вениамину служитель доложил уже о моем приезде, и, так как второй класс был его, я дождался его в коридоре, чтобы сказать, что я еще не явился к о. инспектору; а о. Вениамин пригласил меня в 4 часа к себе. Наконец являюсь к о. инспектору; "А, — сказал он, — вот, наконец! а я уже начал было об вас беспокоиться: что это он так долго не едет? уж не опасно ли захворал?" — "Нет, В<аше> В<ысокопреподобие>, — отвечал я, — болезнь моя больше была предлогом; а мне просто захотелось подольше пожить дома, поправиться здоровьем". И почти до 11 часов он ходил и говорил со мной, а потом послал в класс, сказавши: "Подите, — еще, может быть, что-нибудь застанете". Между тем о. инспектор прислал мне журнал отлучающихся из Академии и приказал принять дежурство; неделя была моя, и за меня дежурил мой помощник, А<лександр> С<еменович> К<узнецов>».

«Догматику взял себе о. ректор, а о. инспектор взял, вместо о. ректора, противораскольническую педагогику».

«В пятницу был класс о. ректора. Он говорит лекцию не на кафедре, которая стоит боком к студентам, но подле кафедры ему ставят кресло, и он, сидя лицом к студентам и уставив глаза в книгу, медленно, но твердо, без поправок, без повторений, импровизирует свою лекцию, как печатный станок. Он сказал нам заранее, что лекций выдавать нам не будет, а — если хотим — пусть записывают за ним; он после выправит. "Печатных учебников не нужно; это — глупость!" Известно, что он был в неприятных отношениях с Преосвящ. Макарием[149]. Но, как ни твердо он говорит, нельзя не пожалеть прежнего преподавателя, о. Феодора; кроме того, что ныне так мертво, холодно и сухо, само отрицательное православие его многим не похоже на то православие, которое проповедовали Иисус Христос, Ап. Павел и Св. отцы. Я не могу принять такой догматики; что будет дальше».

«Курсовые сочинения велено подать к маю; да еще о. ректор хотел было нам дать семь сочинений месячных, так что каждое

сочинение выходило на 20 дней; да три проповеди. Но о. инспектор умолил его избавить нас хотя от сочинений, а проповеди остались все-таки за нами».

(*1857 г. Сент. 12–18-го*). «Четверг утром. Вчерашний день был у нас Его Высочество, Петр Георгиевич, Принц Ольденбургский. Повещено было в 10 ч. утра собраться всем наставникам. Около половины 12-го приехал Принц. О. инспектор, встретив его, поспешил в класс, потому что были его часы. Только что начал он говорить лекцию, как двери растворились, и Е<го> В<ысочество> влетел ловко, по-военному, склонившись несколько набок, и раскланялся с нами по всем правилам танцевального искусства. С тем вместе он сделал рукою движение — выражавшее: "Не беспокойтесь, сидите!" — мы стоим. О. ректор представил о. инспектора, и Петр Георгиевич пожелал слушать лекцию. По выраженному вторично желанию его, о. ректор сделал знак, чтобы мы сели. О. Феодор вошел на кафедру и стоя продолжал лекцию. И обыкновенно он не скоро находит слова для выражения своих мыслей; при усиленном старании — говорить быстрее — слова еще больше затрудняли его; видно было, что он с большим усилием отыскивает выражения для мыслей, толпой теснившихся наружу. О. инспектор стоял на кафедре, полуобратившись к нам. Петр Георгиевич и о. ректор стали на противоположной стороне от нас, за кафедрой. О. ректор предложил было стул, но Принц остался стоя; у отворенных дверей стоял весь сонм, его сопровождавший. Постояв минут пять, в продолжение которых он то говорил с о. ректором, то посматривал в сад, то на свой сапог, наконец раскланялся опять по-прежнему и так же быстро вышел, как и вошел».

«Ныне» (13 сент.) «приехал граф Толстой» (Александр Петрович, обер-прокурор Свят. Синода), «и мы опять готовимся, больше прежнего: из столов выбирают куда-нибудь подальше табак, из шкафов — светские журналы. По милости графа нас арестовали: о. ректор дал приказание не увольнять студентов в город ни сегодня, ни завтра; по этому случаю студенты, записывавшиеся ныне в город, не уволены, и я в том числе. Но, к счастию, я ушел, не дождавшись запрещения или позволения, когда книгу не носили еще к о. инспектору, в половине 9-го. Пришедши домой, явился с повинной головой к о. Феодору и — все обошлось хорошо. Завтра ждем прокурора, часов в 12 он обещал быть, а вечером — говорят — уедет».

«Воскресенье. Ждем графа. Обедня у нас началась, по обыкновению, в 9 с половиной, и о. ректор сдал приказание, чтобы

к 11 часам все было кончено. После обедни и ныне, и вчера студенты пили чай в кухне, потому что в столовой было уже покрыто к обеду, хоть сию же минуту подавать кушанье. После обедни о. ректор ходил осматривать номера и, не застав многих студентов, когда ему сказали, что они пьют чай, закричал: "Что за чай!" — и сейчас же послал служителя, чтобы самовары загасить и воды студентам не давать».

«Вот наконец и Его Сиятельство посетил нас. Он приехал около половины первого; прямо — в церковь; там все наставники и начальствующие уставились в ряд, и каждому прокурор что-нибудь сказал. Из церкви он отправился в библиотеки, в классы, повсюду удивляя своей наивностью, простотой и неведением. Затем отправился по номерам. В первом номере заметил, что один студент удивительно похож на Государя Императора[150]; он так удивлен был, что только пожимал плечами. Во втором номере о. ректор почему-то сказал, что тут живут младшие студенты. (Вообще о. ректор пред посетителями никогда не застаивается, а говорит наобум, когда не знает наверное; напр<имер>, Принц спрашивает: сколько семинарий в Казанском округе; о. ректор отвечал: девять; тогда как 9 — это в Петербургском, а у нас 13. Еще: сколько у нас бывает классов латинского языка? — о. ректор тотчас же: два класса, тогда как у нас, т. е. в старшем отделении, вовсе не полагается латинских классов.) Точно так же и теперь — прокурор обращается к одному из мнимых младших студентов, который ростом в косую сажень, и спрашивает его: "Сколько вы лет в Академии?" Верещагин, так звали этого студента, после говорит: конечно, я бы не затруднился сказать, что я год еще только в Академии, да вижу, что на меня так и уставился о. Феодор: того и гляди — обличит; он уж и так твердит прокурору, что тут живут старшие, а не младшие студенты. "Три года", — отвечал Верещагин. "Что такое: старшие?" — обратился наконец с вопросом прокурор, расслушав кое-что наконец. "Это вот старший, Ваше Сиятельство, а это — его помощник", — вывернулся о. ректор. "И здесь тоже младшие?" — спросил прокурор, войдя в наш номер. — "Так точно, Ваше Сиятельство! Впрочем, они тоже живут у нас не одни, а под надзором старшего", — и о. ректор указал рукой на меня. Я сделал полупоклон, вроде рекомендации. "Вы не совсем здоровы, кажется", — сказал прокурор, обращаясь к стоявшему подле Морошкину. — "Да, я недавно вышел из больницы", — отвечал тот, и прокурор пошел далее. В пятом номере о. ректор преобразил уже младших студентов в старших; вероятно, подумал, что надо же где-ни-

будь и старших студентов сделать, а то — нехорошо: 5 номеров все будут с младшими студентами и только один — старших. О. инспектор опять поправил о. ректора, и тот опять употребил прежний маневр, пользуясь глухотой графа: "Я говорю, что это вот старший, Ваше Сиятельство!" В спальнях прокурор заметил, что нас содержат даже роскошно; говорил, что, когда он воспитывался, у них не было таких прекрасных одеял» (а одеяла у нас были белые байковые и, действительно, очень мягкой шерсти) «и спал он на одной подушке; в заключение высказал, что мы (духовные) не должны много гнаться за красотой, но чтобы не щадили сумм для сбережения сил и здоровья. Все и везде он находил прекрасным. В столовой было уже совсем накрыто, а на инспекторский столик поставлены "пробные" или, как справедливее называют их, "образцовые" порции для начальства. Так как это было в воскресенье, то у нас, кроме трех блюд, были пироги и в числе блюд случайно красовался пудинг (случайно, потому что нельзя предполагать, что еще за неделю до приезда графа, когда составлялось расписание кушаньям, о. эконом мог знать, что граф посетит нас именно в воскресенье). "Это, вероятно, по случаю праздника у них такой стол?" — спросил граф; о. ректор поспешил утвердить его в этой мысли. "То-то! а то — ведь их не надобно приучать к слишком роскошной жизни; после им же трудно будет отвыкать". Наконец граф стал прощаться и обещался, если будет время, еще раз побывать в Академии; о. ректор предложил ему побывать на другой день на лекциях и обещался представить расписание классов. — "Хорошо! Так пожалуйте ко мне теперь с о. Феодором и привезите ко мне расписание". О. ректор и о. инспектор пробыли у прокурора до 4 часов. Граф присылал за о. Феодором еще в субботу, чтобы он явился к нему в 5 часов; но о. Феодор, по обыкновению, опоздал; в 20 минут 6-го только отправился, а прокурору в 6 часов нужно было куда-то ехать и он его уже не принял. "Ну, Бог с ним! — Бог с ним, батюшка!" — отвечал о. Феодор о. Вениамину, когда тот выразил ему весь свой ужас от такой неточности его перед таким лицом!»

«На другой день, в понедельник, в половине 11-го, когда у нас в классе был о. Григорий, приехал прокурор. Нам слышно, что он прошел в низшее отделение. К счастию, звонок вскоре избавил о. Григория от тяжкой заботы. Следовала бы большая перемена, продолжающаяся, по уставу, полчаса, а на самом деле час, потому что наставники обыкновенно медлят своим приходом полчаса после звонка. Но нас тотчас же опять загнали в класс, и пришел о. Феодор; был класс противораскольни-

ческой педагогики. Только что начал о. инспектор свою лекцию, вошел граф в сопровождении о. ректора; о. ректор подал ему стул, и граф сел немного боком и спиной к кафедре, чтобы не смущать — должно быть — профессора. О. ректор сел на другой стороне, спиной к младшим студентам (на раскол собираются оба отделения, и высшее, и низшее). О. Феодор стал на кафедре и продолжал лекцию, не торопясь, не смущаясь, как обыкновенно, со всеми своими поэтическими отступлениями, повторениями и обращениями. Граф слушал — все согнувшись, не поднимая головы. О. ректор, слушая, вероятно, многое принимал прямо на свой счет, хотя у о. инспектора и мысли не было говорить что-нибудь против лица, а не против направлений. Высидев ровно час, граф встал и, поблагодарив о. Феодора, сказал: "Я совершенно согласен с Вашим первым положением, а второго — верно, я немного не дослышал; я глух немного, а Вы говорите очень тихо, так что я что-то не понял; мне кажется..." — и он изложил свое замечание. О. Феодор хотел было дополнить свои слова, но граф простился, изъявив сожаление, что не может дальше послушать наших уроков и еще побывать у нас».

(*1857 г. Окт. 4–10-го*). «...Часов около 7 приезжает» (к Корсаковым) «Эмма Вас. Кулебякина с мужем. Эта дама (мне давно уже говорили о ней) изъявила желание принять православие. Она просила Софью Дм. быть ее восприемницей и наставницей в православии, а С. Д. хочет предоставить ее наставлениям о. Феодора». «С. Д. поручила мне просить к ним завтра о. Феодора, объяснивши ему и причину, зачем его желают видеть. Любопытно будет завтра узнать, что он поговорит с Эммой Вас.».

«Вечером у них был о. Феодор и беседовал с Э. В. Его ждали там с 5 часов; потому я был очень удивлен, когда он в 7 часов пришел в наш номер; ужели он уже съездил? — думал я. На другой день узнаю, что он приехал к ним уже в 9-м часу, так что они перестали было уже и ждать его; его кучер сначала подвез его к университету, потом опять вывез на Арское Поле, так что, наконец, о. Феодор уже сам должен был указывать ему дорогу. В этот раз, по словам Софьи Дм., о. Феодор говорил так просто и ясно, что Софье Дм. приходило в голову: как это она сама не сказала того же (sic!). Эмма Вас., конечно, была в восторге. Я, как только после урока заговорили мы о ней, спросил о том впечатлении, какое сделал на нее о. Феодор; если только я верно понял французскую фразу, которую в подлиннике передала С. Д., — то Эмма Вас. сказала, что это не чело-

век, а — выше человека. О. Феодор объяснял им места и из посланий Ап. Павла, и из Апокалипсиса (особенно сильны и убедительны бывают его слова, когда он основывает их на Апокалипсисе; вероятно, он объяснял им главу, в которой говорится о лютеранстве[151]). Как бы Вы думали? — в таких миссионерских разговорах он просидел у них до... 12 часов; так что С. Д. сама уже напоминала ему, что — конечно — они завтра могут спать сколько хотят, а у него — вероятно — есть дела, которые потребуют его в свое определенное время. Эмма Вас. обещалась быть у него на другой день, вместе и с мужем».

«У нас о. ректор продолжает ходить по классам. В среду пришел он на класс о. Григория; у него не было лекции, он спрашивал студентов повторять прочитанное им сочинение о. Феодора "Ап. Павел в своих посланиях". По приходе о. ректора он поскорее бросил прежнего студента и обратился к Павлову; Павлов кое-что говорил, о. Григорий наводил его, о. ректор возражал. Наконец, когда Павлов говорил уже с полчаса или более, о. ректор сказал: спросите кого-нибудь другого или читайте лекцию; о. Григорий объяснил, что лекции он не приготовил, положив употребить весь этот класс на повторение, и спросил меня; я сказал еще менее, чем Павлов. Дело все вертелось только на "стихиях мира" (Гал. IV, 3, 9; Кол. II, 8, 20); о. ректор возражает так положительно, что уничтожает всякую возможность думать о защите своего мнения. К счастию, скоро пробили звонок и вывели нас из жалкого положения. Все мы, по нашему выражению, наплавались («наплаваться» — это значит быть в таком положении, что только постоянными неимоверными усилиями спасаешься от ежеминутного конечного потопления; но, конечно, всего хуже было о. Григорию)».

В дополнение и объяснение написанного тогда, скажу несколько слов об этой непобедимости возражений о. ректора, «таких положительных», что и профессор, и студенты оказывались в положении плавающих, т. е. не имеющих земли под ногами. Причина была в том, что профессор и студенты излагали догмат веры, а возражатель стоял на почве рационалистического понимания учения Христова. Когда в богословском словоупотреблении у нас принято мистицизмом называть религиозное суеверие, т. е. веру не утверждающихся на Откровении, то очень простительно было и профессору, только что вступившему тогда на кафедру, а тем более студенту, что они не посягали открыто заявить ректору Академии и доктору богословия, что «христианство по существу своему есть мистицизм», как открыто говорил это о. Феодор и как говорит слово Божие, назы-

вающее учение Христово тайною (μυστήριον) — тайною Евангелия (Еф. VI,19), тайнами Царствия Божия (Марк IV, 11; Лк. VIII, 10; Мф. XIII, 11), тайной Христовой (Кол. IV, 3; Еф. III, 4), тайною Бога и Отца, и Христа (Кол. II, 2), домостроительством тайны (Еф. III, 9). Об этой-то «великой тайне благочестия», что «Бог явился во плоти и оправдал Себя в Духе» (1 Тим. III, 16), — тайне, усвояемой только верою, и шла речь у ректора, студентов и профессора. Учение о том, что «закон», т. е. все ветхозаветное устройство, ко времени пришествия Христова стало бессильно для спасения, перестало живительно действовать на душу (Рим. VIII, 3), и это потому именно (εὐ ὸ ἠσθένε διὰ τῆς σαρκος), что сама «плоть», вещественость, «стихии мира», на которых держалось все ветхозаветное устройство (Кол. II, 20–22; Гал. IV, 9, 10), стали «жалкими и бессильными», утратили первобытные силу и величие, эта великая мысль Ап. Павла, раскрываемая о. Феодором, конечно, должна была оказаться недоказанной и недоказуемой, коль скоро для откровенной тайны потребовали «положительных», математических доказательств. О. ректор требовал, чтобы ему, как 2 + 2 = 4, доказали сказанное Апостолом. Так как закон стал бессилен, потому что сами вещественные начала мира (плоть) сделались немощны и бессильны, то Бог и послал в мир Сына Своего, чтобы Он вошел во все условия этой вещественности — «в подобии плоти греховной *и за грех осудил грех во плоти*» (Рим. VIII, 3; Гал. IV, 9, 10). Разве осуждение Отцом Сына Божия на крестную жертву за грех не есть мистицизм, а для эллинов прямо безумие, «глупости»? Вот мы трое — Павлов, я и о. Григорий — и оказались плохими защитниками учения Христова о тайне благовествования, которую дано было возвестить Ап. Павлу (Еф. III, 8) и которую раскрывал о. Феодор в своих творениях.

(*1857 г. Окт. 15–20-го д<ня>*). «Вы спрашиваете, все так ли же добр ко мне о. Феодор? К несчастию, я не могу отвечать на это утвердительно; он как будто чуждается меня. Я приписываю это отчасти тому, что сам я в последнее время — особенно со времени вакации — рассеялся, а сочинение, поддерживая эту внешнюю деятельность, еще более постоянно отвлекает меня от занятия собой. Но столько же это отдаление о. Феодора от меня нужно приписать вообще отдалению его от студентов. И прежде, кроме меня, кажется, не находилось *охотников* просиживать вечера, слушая о. Феодора: я особенно дорожил (и теперь дорожу столько же) каждым его словом, потому что вижу, как еще много осталось для меня непонятым, как — с каждым

даже повторением — для меня хоть сколько-нибудь уясняется прежнее; а между повторениями каждый раз услышишь что-нибудь и новое, не говоря о том, когда о. Феодор говорит прямо что-нибудь новое, так, например, теперь, когда он читает нам нравственное богословие. Между тем я сознаю, что каждое недослушанное или непонятое слово составляет для меня большую потерю в будущем — в нравственной жизни; это и заставляет меня дорожить каждым его словом. Другие, остановившись на известных выражениях о. Феодора, считают их уже понятыми и не хотят более слушать, говоря: старое. Все учение, преподаваемое о. Феодором, так крепко построено на одном начале, что из него можно логически вывести как прямые следствия все дальнейшее развитие; но для этого нужна голова такая же крепкая, как у о. Феодора, и целая жизнь, проведенная в этом занятии. Но оттого выходит, что когда говорит что-нибудь о. Феодор, то многим приходит на мысль: как же это мне самому не пришло этого в голову? — ведь иначе и быть не может. Потому некоторые, успокоивая себя мыслию, что они, когда захотят, то и сами дойдут до того же, тоже пускают иное мимо ушей, говоря: старое! все это мы уже знаем. Но главная причина опять-таки в студентах: с некоторого времени, быть может именно со времени приезда о. ректора, студенты много переменились: прежде они видели в о. Феодоре представителя противников пустой, бездушной формы, противодействовавшего влиянию деспотизма, хотя его собственные требования, как требования духовного исполнения закона, конечно, если бы исполнять их как следует, были бы тяжелее всякого немого закона*. Но им подчинялись более или менее и с большей или

---

* Словом «немой» я хотел сказать — «закон» только требует, не мотивируя, не объясняя своих требований, и исполнители его только «рабы», а не «друзья» Господа (Иоан. XV, 15).

«Вижу, — писал я, — что говорю непонятно; постараюсь пояснить примером. Вы помните, например, как сначала о. ректор притеснил о. эконома; студенты воспользовались этим и стали простирать свои требования — относительно стола например — почти до капризов; ныне, конечно, не то; о. эконом ввел и вводит прежние ограничения именем того же о. ректора, а на очную ставку их не сведешь. Но тем не менее впечатление сделано, и — после того — студенты, конечно, совсем иначе станут смотреть и слушать, когда о. инспектор на их жалобы о каше, рыбе и фруктах начнет говорить им, что не об этом надобно заботиться. Или еще пример: о. ректор, видимо, хочет, чтобы служба шла как можно скорее, певчие не заставляют просить себя, о. Феодор огорчается, и призывает, и просит, чтобы пели получше, ничего не бывало! а иногда и напомнят ему, что есть

меньшей искренностью, особенно под рукой петербургского либерализма о. Диодора, будучи довольны и тем, что, по крайней мере, находятся не под гнетом формальности. Но приехал о. ректор; сам он требует только того, чтобы все было гладко; в его действиях совершенное противоречие с понятиями, которые старался воспитать в студентах о. Феодор (*не пред очима точию работающе, но якоже Господеви*[152]), и студенты, чувствуя, что гораздо легче соблюдать одну внешнюю исправность, опять обратились от благодати к закону, тем с большей охотой, что новый законодатель требует только, чтобы все преклонялось пред его волей, послабляя в других местах. Такое отпадение от благодати опять под иго закона, конечно, глубоко опечалило и разочаровало о. Феодора в состоянии студентов. А он всегда смотрит на всякое общество как на живое тело, в котором каждый член непременно, необходимо участвует или в поддержке, или в разрушении дела Божия. И старшему чередному как представителю всех студентов особенно редко удается пользоваться благосклонным приемом о. Феодора; нередко, будучи старшим дежурным, испытывает два совершенно разных приема: один — когда приходит от лица всех, причем о. Феодор иногда даже не благословит, а скажет только, полуотвернувшись: "Давайте книгу" — и потом отдает ее, также не глядя, и совсем другой, когда придет к нему же как частное лицо, за своим делом или с чужим поручением. Но ныне, надо сказать правду, после долгого разговора в день моего приезда, мне никогда не удавалось потом еще раз пользоваться беседой о. Феодора, хотя иногда, когда я приходил к нему с разными поручениями от Корсаковых, например, он принимал меня довольно ласково».

(*1857 г. Окт. 4/10-го*). «Здесь, в Казани, город наполнен молвой о панораме или диораме, представляющей в действии, и с воспроизведением звуков, картины коронации[153] и потом еще несколько картин: "Дрезден", "Утро в горах" и т. п. Судя по афише, это — та же коронация, что красовалась и у нас в Нижнем вершковыми литерами на всех столбах во время ярмарки; только у нас, за другими новостями ярмарки, об ней ничего не говорили».

и другое начальство, которому это угодно, кому же-де нам угождать? и вот — брошена тень на все прежнее: о. Феодор во всем прежнем видит только человекоугодничество, которое для него всего противнее».

(*Окт. 15/ 20-го*). «Вчера вечером Павлов, возвратившись вместе с Митенькой с урока, объявил, что Софья Дм. приглашает нас ехать вместе с ними в Старый театр — смотреть коронацию. Павлов отвечал, что, если я отправлюсь, будет и он. Потому Митенька был очень поражен, когда я сказал, что, если бы о. инспектор и отпустил меня, мне нельзя будет отправиться потому, что в 9 часов я должен явиться к о. ректору» (в качестве чередного старшего). «Однако после всенощной порешили, что мы можем не досидеть спектакля, а все-таки посмотрим хоть до 9 часов; все оканчивается там около 10 часов. Так и ныне после обедни подтвердили Софье Дм., что все будет теперь зависеть от о. инспектора, которого мы и будем просить о том после чаю. Софья Дм. после обедни отправилась к о. инспектору, а Митенька с Павловым хотели отправиться с визитами к Логинову и Нордману». (Еще два учителя моего ученика; теперь нас было уже четверо: я с Павловым и Нордман с Логиновым — студенты университета.) «Как вдруг, не успел еще я выпить двух чашек чая, Митенька ищет Павлова, является в столовую с вестью, что о. инспектор никак не соглашается отпустить нас. Митенька очень жалел, что мамаша, по его выражению, “сунулась” просить <за> нас, что, если бы мы сами попросились просто к Корсаковым до ужина, он, конечно, отпустил бы нас, а теперь говорит, что в театр отпустить нельзя, — портится нравственность; а когда ему объяснили, что́ это за театр, он сказал, что еще менее позволительно, потому что, как это можно — представлять куклами такое священное действие, как коронация. Я успокоил Митеньку, что — все равно было бы, если бы мы и сами стали проситься, что это не настоящие мысли о. инспектора о театре и что, если он не хочет нас отпустить, то это, конечно, от других причин. Эта причина была, по моему мнению, та, что о. инспектор не хотел делать исключения из закона для тех, которые хотят жить законом. Моя догадка подтверждается тем самым, что до 8 часов о. инспектор уволил потом Павлова, хотя, конечно, понимал, что Павлов отправится туда же. И Павлов действительно намерен, как это нередко делается, просрочить до 9 часов», чтобы посмотреть коронацию.

(*1857 г. Окт. 25-го — нояб. 3-го*). «Мы уговорились с И. М. на другой день идти к А. П.[154], но я не успел с вечера записаться в книгу, а мне — кроме того — хотелось сходить после обеда еще в Казанский монастырь, и потому поутру я отправился к о. инспектору отпроситься лично. Я к нему в дверь, а он — из

двери; если бы я опоздал еще минутой, он уже уехал бы в собор. Увольнение я получил беспрекословно и тотчас же после обеда отправился»... и пр.

«Наталья Ив.* просила меня попросить о. Феодора, не приедет ли он к ней опять. В прежний раз, когда она чрез Антонину Ив. просила его исповедовать ее и причастить, о. инспектор, выставив некоторые неудобства к тому, не отказался совершенно, но советовал предложить больной, не хочет ли она просто поговорить с ним, а исповедоваться и причаститься у другого священника, и велел известить его, как это примет больная, обещаясь, если больной непременно того захочется, исполнить ее желание. В понедельник вечером, приехав тогда к Корсаковым после уже моего урока, он окончательно убедил больную исповедоваться у приходского священника (точно так же, как некогда и меня) и поговорил с ней вечер; а во вторник она исповедовалась и причастилась. В среду Нат. Ив. не смела убедительно просить чрез меня о. Феодора, потому что не могла послать за ним лошадей, а в академических лошадей <так!> ныне о. инспектор встречает затруднение (о. ректор не велел давать лошадей никому никуда, кроме выездов к богослужению в городские церкви). От Корсаковых я вышел тогда в 8 ч., а после молитвы отправился к о. инспектору с поручением. Он долго думал, что сказать на просьбу Н. И., и наконец сказал, что будет, если ничто особенное не попрепятствует; потом поговорил о некоторых других предметах, спросил об учениках; я пожаловался на свое неуменье заинтересовать ученика, пожаловался не без особенного намерения — вызвать о. инспектора на разговор; и — действительно — о. Феодор разговорился, желая помочь мне своим советом. От него я ушел уже в 20 м<инут> первого. Вначале, вскоре по моем приходе, он говорил что-то о болезни Н. И., но — так темно и закрыто, что нельзя было даже мне, при всем моем навыке к пониманию его способа выражения, понять, что в его словах нужно было понимать буквально и что в переносном смысле, что относилось собственно к болезни Н. И. и что — вообще к болезням нашим, физическим или моральным».

«Софья Дм. пригласила нас обедать». (Это было в воскр. после обедни.) «Тут случилось маленькое происшествие, которое требует, чтобы я возвратился немного назад в своем рассказе. О. Григорий, кажется, я уже и говаривал Вам это, отличается большой ревностию во всем; и прежде студенты смотрели на

* Корсаковская гуверантка, которая была тогда больна.

него не слишком благосклонно как на наставника, а когда он сделался помощником инспектора, да еще такого инспектора, как о. Феодор, да притом — после о. Диодора, который был “и нашим, и вашим”, студенты окончательно не могли сойтись с о. Григорием. Надобно правду сказать, что и о. Григорий очень груб, тогда как студенты приучены, чтобы на них хоть и тяжелые кандалы накладывали, как, бывало, о. Серафим, но — со всей учтивостью. Особенно отличался столкновениями с о. Григорием Морошкин, один из младших студентов (и, кажется, лучший студент), который живет в моей комнате. Морошкин не раз имел с о. Григорием стычки, в которых нельзя никак оправдать его: о. Григорий скажет ему слово, он или выставит всю нелепость замечания, или просто за́ слово ответит двумя. Между ними давно готова была вспышка; перед обедней, когда студенты — уже совсем одетые — ожидали только благовеста и ходили по верхнему коридору, о. Григорий зашел в спальные — посмотреть, нет ли спящих. Когда он вывернулся <так!> оттуда, мимо него прошел Морошкин, заложив одну руку за лацкан сюртука; вероятно, он прошел мимо о. Григория, не обратив на него никакого внимания; о. Григорий не выдержал и сказал: “Что́ вы, как себя держите! мужик!” Морошкин оборотился и вскрикнул так, чтобы все могли слышать: “Я не мужик; Вы это очень хорошо знаете; мужиков в Академии не держат”. После обедни о. Григорий сказал об этом о. инспектору, и о. Феодор присудил посадить Морошкина за голодный стол. Морошкин просил заявить протест, обещаясь исполнить все-таки наказание о. инспектора, протест вообще против обращения о. Григория. Старшие согласились, тем более что давно все уже ожидало одной капли, чтобы перелиться через край... Долго сидел у о. инспектора Горемыкин; когда уехал он и мы явились, у о. Феодора оставался еще о. Вениамин и был свидетелем нашего объяснения. Мы сказали о. Феодору, что пришли объяснить ему, что, если виноват Морошкин, с ним столько же виноваты и все студенты, потому что они не только не отказываются от слов Морошкина, но теперь же — в лице нашем — все повторяют их; что Морошкин отнюдь не отказывается от выполнения наказания, определенного о. инспектором, но что наказание это, мы должны заявить это по совести, не достигнет своей цели, потому что студенты смотрят на поступок Морошкина совсем иначе и видят в Морошкине человека, который будет терпеть наказание за то, что высказал за других правду, которая — рано или поздно — должна же была высказаться. О. инспектор отвечал, что он согласен признать себя винова-

тым за то, что назначил неправильно наказание. Мы отвечали, конечно, что никак не можем считать его виноватым, потому что до него доходила доселе только одна сторона правды, а другая молчала. О. инспектор высказал и то, что он видит в настоящем объяснении прямое неуважение к себе: попробовал было напомнить нам прямой — христианский взгляд на это дело, но много ли найдет<ся> истинных христиан, когда учение Христово нужно бывает перенести из настольного Евангелия в жизнь! Тогда о. инспектор сказал, что наказание Морошкина должно, по крайней мере, остаться для нас знаком, что, где бы мы ни были, если мы не захотим свободно работать Христу, будем принуждены законом, что из Его власти не выйдем. Протест был кончен; большего от него никто и не ожидал, по крайней мере никто из понимавших дело и о. инспектора. Я уже высказал Вам собственный свой взгляд на это дело; я никак не одобрил бы этого протеста, но надобно было идти с другими как представителю других, и я говорил не менее других; мне принадлежало в объяснении то, что я старался, сколько можно, сделать это дело общим, вывести его из ряда частных поступков, чтобы т. е. протест наш падал не на случайный проступок, а служил выражением общего, дотоле не высказанного только голоса. Вышедши от о. инспектора, мы только оделись немного и отправились к Корсаковым».

«Возвратившись, мы явились к о. Григорию, а после молитвы все старшие отправились к о. инспектору; он опять заговорил, конечно, о прежнем деле; сказал, что он видит в этом и добрую сторону: что мы, сознательно или бессознательно, отстаивали при этом свое право, чтобы с нами обращались как с сынами новоблагодатной свободы, но... и пр., что теперь предстоит возможность воспользоваться этим самым случаем; что стоит только не мириться со злом, которое обнаружилось в настоящем случае, но отказаться от того, что оказалось злом». (Чтобы понять ассоциацию идей, которая привела о. Феодора ко взгляду на протестующих против грубого обращения со студентами как на ратующих за «звание» и достоинство «сынов новоблагодатной свободы», должно припомнить, что в то время слово «мужик» было еще синонимом «раба»; а «раб» и «сын» в Писании противополагаются[155].) «Все, что ни говорил о. инспектор, исключая, быть может, первое его положение, было в высшей степени справедливо; я в этот раз не говорил ни слова. Но под конец разговор принял самый несчастный оборот и окончился почти на том, что о. инспектор сказал, что он опять подает просьбу об увольнении, что ему нет больше сил терпеть; а

Павлов сказал, что и мы также ждем не дождемся того времени, когда выйдем из Академии».

«Софья Дм. сказывала, что в среду о. инспектор обещался тотчас после своего класса приехать к ним обедать; а так как в середу у меня был урок, то пригласила и меня приходить к обеду. Я, хоть и не видел в приглашении особенного усердия, охотно принял его из желания провести время в обществе о. инспектора». Дня через два в письме было прибавлено: «Я взял назад свое обещание быть в середу к обеду; я не объяснил причины, но сделал так потому, что не хотел своим присутствием напоминать о. инспектору о студентах и возмущать доброе расположение его духа».

«В среду мне было чрезвычайно приятно увидеть, что в о. Феодоре совершилась... не могу не употребить выражений, заимствованных из его же лексикографии, совершилась победа над этим злом; всякого личного чувства не осталось и следа; он опять способен, смотря на этот предмет как на совершенно для него посторонний, обсуждать его и указать дорогу за собой другим. Опять я должен несколько объснить Вам взгляд о. Феодора на жизнь и науку, в частности на его науку и дело его жизни — инспекцию; жизнь и наука, учение Христово, вера христианская, которую все мы приписываем себе, и — поведение, поступки в тех или других обстоятельствах — составляют для него одно, связаны неразрывно. Оттого у него не может наука, преподавание идти своим порядком по программе учебника, так, чтобы мысли и чувства, занимающие его душу, не проторгались, не восходили в те отделы науки, которыми он занимается в классе и размышлением о которых приготовляется к классу. Как вообще для него нет дел маловажных, но всякое дело он делает как дело Божие (как для философа нет дел нравственно безразличных, но все — до простого вкушения пищи — он делает по побуждению и по чувству *долга*, так и у него, только на месте слова *долг* нужно поставить слово *Христос*; всякое действие христианина, по его учению, должно быть усвоением, *воспринятием* Христа верою по благодати, Христа, уже исполнившего за нас все и дающего нам благодать, — приходить во всех положениях, во всех случаях жизни — во внутреннюю сообразность с Ним; вот путь к богоподобию и соединению с Богом). Как вообще для о. Феодора нет ничего маловажного, так, в особенности, дела по инспекции имеют для него самый живой, сердечный интерес; он никогда не может глядеть на них так, что, ну вот, сказал, что́ следует, ответил на возражение, на протест, наказал проступок — и дело сделано, я теперь

прав; перейдем к очередным занятиям, пока опять не придет нужда употребить ту или другую начальническую меру. Нет, у о. Феодора все мысли вращаются около того или другого поступка студентов или даже одного студента, когда этот поступок обратил на себя его внимание как факт, послуживший обнаружением какого-нибудь нравственного недостатка в студентах (тут уже — не студента, хотя бы поступок принадлежал и одному; о. Феодор никогда не смотрит на человека в отдельности, но на всякое общество, как бы на одно семейство, как на Церковь, т. е. такое живое, органическое целое, в котором все члены имеют необходимое влияние друг на друга, все на каждого и каждый на всех). Оттого и примеры, и приложения, и объяснения невольно относятся у о. Феодора к предмету, его занимающему, оттого же он почти после всякого проступка студентов или, иначе, после всякого огорчения хворает, день, два, три и более; конечно, это зависит, в частности, от его болезненного, нервно-желчного темперамента. Наконец, я оканчиваю утомительное для Вас объяснение; не знаю, послужило ли оно сколько-нибудь к тому, чтобы объяснить Вам, почему я в середу был очень рад, когда о. Феодор начал говорить о прошедшей… (или нет! еще совсем не прошедшей, а только начавшейся) борьбе как о деле, уже совершенно чуждом всякой примеси личного болезненного чувства; так что я видел, что, если бы даже я и стал с ним обедать у Корсаковых, это не возмутило бы его. Но я очень хорошо сделал, что отказался от обеда, потому что, когда я в половине 4-го пришел к Корсаковым, у них обед уже оканчивался, а так как обед их продолжается редко меньше часа, то я не мог поспеть вовремя. Митенька тоже обедал вместе с большими, потому надобно было погодить приниматься за урок. Нат. Ив. в первый раз после болезни сошла вниз и обедала с другими, а Марья Вас.» (бывшая Эмма Вас. — новоприсоединенная) «лежала наверху; она задыхается, и поутру ей ставили на грудь пиявки. Правду сказать, мы оба с Митенькой побаивались посещения о. инспектора, хотя я на прошедшей неделе и просил его — поспросить Митеньку; он боялся, что о. Феодор станет его спрашивать, а я боялся, чтобы мне не пришлось говорить при о. инспекторе, да еще, пожалуй, при целом обществе, так что я было готовился просить о. инспектора, чтобы он сам дал урок Митеньке, в руководство мне. Но о. Феодор пред началом нашего урока прошел в комнату Нат. Ив., где лежала больная, и там читал для всех письмо из Иерусалима, помещенное в “Христ. чтении”[156]. Когда окончился наш класс, в 5 часов, я пришел к тому же обществу; тут был еще Логинов,

который вскоре отправился с Митенькой на второй урок. О. инспектор прочитал еще Слово Преосвящ. Григория[157], тоже из "Христ. чтения", и хотел было отправиться домой, но Софья Дм. предложила ему остаться кушать чай, сказав, что она уже распорядилась, чтобы и самовар был поставлен; о. инспектор остался, а с ним, конечно, остался и я. Приехала Ольга Ив.*. За чаем поговорили о литературе; это, кажется, всегдашний разговор Александра Львовича; говорили о бесполезности современных беллетристических произведений, в частности от Алекс. Льв. досталось, по обыкновению, Гоголю и Щедрину. Логинов держал противную сторону, доказывая нравственно-воспитательное влияние литературы, а мы — вдвоем с Алекс. Льв. — помирились на том, что произведения Щедрина и Печерского» (Щедрин тогда только что еще выступил «Губернскими очерками», а Печерский-Мельников дебютировал в литературе, издав «Старые годы»[158]) «имеют влияние на образование общественного мнения. Потом мало-помалу все опять перебрались наверх; о. инспектор прочитал из Нового Завета по русскому переводу[159] послание Ап. Павла к Филиппийцам, потом из Евангелия от Иоанна, начиная с повествования о Тайной Вечере до конца. Марья Вас. то лежала, то сидела на своей постели, слушала или нет, уже я не знаю, оттого что сидел через стол от нее и не мог ее видеть» (по своей крайней близорукости); «Софья Дм. разматывала шелк и сначала, по-видимому, слушала с удовольствием, а потом уже, конечно, не так-то была довольна, что слово Божие держало в состоянии томительного бездействия ее собственное слово целый вечер; Верочка вязала чулок; Митенька сидел тут же и шалил исподтишка, мешая то Верочке, то Нат<алье> Ив<ановне>. Ольга сидела вдали и с горя, что у ней пропал вечер, вероятно, сочиняла на наш счет эпиграммы и карикатуры для завтрашнего дня; Нат. Ив. вязала свои звездочки, а больше так слушала и по временам плакала. Один о. инспектор не замечал ничего и продолжал читать, весь погрузившись в свое занятие. Прежде чем он начал читать последнюю беседу Господа[160], я попросил было его при чтении сделать некоторые объяснения; но он, вероятно, соображая, что с объяснениями ему не прочитать этой беседы и в три дня, и полагаясь более на действие самого слова Божия, сказал, помолчавши немного: "Ничего!" Только после уже чтения Софья Дм. сделала два вопроса: почему Мария Магдалина видела двух ангелов и что значит число пойманных

* Еще одна из сестер корсаковской гувернантки, Дубровиных.

рыб: 153?[161] О. инспектор отвечал, что прежде еще много нужно узнать посредствующего, чтобы и такие вопросы служили к назиданию, а не для удовлетворения простого любопытства; однако, прибавил он, засмеявшись, чтобы Вы не осердились, я скажу Вам, что́ значит, что Мария Магдалина видела двух ангелов, и объяснил это. А число рыб, конечно, и оно тоже что-нибудь да значит; это все разберется со временем; но я еще и сам не знаю, что именно оно значит. Когда мы с о. инспектором приехали в Академию, был уже 10-й час в исходе; у нас отошла даже и молитва».

«В понедельник о. эконом получил какое-то письмо из Петербурга, и о. Вениамин советовал скорее показать его о. Феодору; во вторник о. инспектор сам получил письмо от Преосв. Агафангела; все это, в связи с добрым расположением духа о. инспектора, заставляло меня предполагать, что получено известие о переводе куда-нибудь о. инспектора. Выбрав время, я прямо спросил о том о. Феодора; он отвечал, что — нет; но через несколько времени прибавил, что сам подает просьбу об увольнении. Потом он предложил мне, не хочу ли я с ним отужинать, и я принял приглашение. Во время ужина я просил было его, нельзя ли отложить это намерение; но он, как видится, твердо решился, и после ужина я сам должен был сделать конверт для этого прошения, причем сам читал и медицинское свидетельство о невозможности для о. инспектора по состоянию его здоровья продолжать службу; в казанском климате особенно, прибавил мудрый доктор; я оставил о. Феодора без четверти в 12».

(*1857 г. Нояб. 7–10-го*). «Всенощная» (накануне храмового академического праздника — 8 ноября) «отошла без 10 минут в 8 часов. В 9 часов о. Григорий прислал мне мою проповедь, только что прочитанную им, с приказанием представить ее немедленно о. ректору; я подал через келейника, и о. ректор сказал: “Пришлю”; и, действительно, вскоре прислал с на<д>писью: “Произнесть”. В свое время я сказал проповедь без всякого смущения благодаря своей слепоте, потому что для меня слушатели почти не существуют. По окончании проповеди о. ректор дал мне просфору». Отличаю этот факт как признак, что о. ректор не безусловно преследовал все идеи о. инспектора, хотя могло быть и то, что он узнал их в моей переделке. Продолжаю выписку: «О. Василию Лаврову понравилась моя проповедь; после акта ее взял у меня один из наших товарищей-священников. Проповедь моя, как помните, стаченная на живую нитку,

составлена, как и большею частию у нас ныне, из обрывочков мыслей о. инспектора, но, ограниченный объемом листа» (приказание о. ректора, объявленное всем проповедникам), «я не мог развить того, о чем бы, собственно, и следовало говорить, а большую половину ее составляют некоторые эффектные предисловия к самому делу; так что мне было бы очень стыдно, если бы проповедь моя попалась самому о. инспектору и он остался бы очень недоволен таким недобросовестным с моей стороны воровством его мыслей; если я взял чужие мысли, я должен был сделать из них пользу для других. О. Григорий очень верно подписал на ней, что есть мысли очень хорошие; потому что он сам очень хорошо знает даже то, откуда какая очень хорошая мысль взята мной. Эти очень хорошие мысли не могут не нравиться и другим. По крайней мере, не другому чему-нибудь надобно приписать то, что, по замечанию Павлова, никто изо всей церкви не слушал так внимательно мою проповедь, как Нат. Ив., она слушала и узнавала знакомые мысли о. инспектора. В субботу после всенощной у о. инспектора сидел помещик Леонтьев, и, вероятно, разговор зашел о моей проповеди; потому что за ней присылали было, но, на мое счастье, у меня ее еще не было дома». Так мы уже начали собирать жатву от сеяния о. Феодора. Но я при этом укажу нечто большее: важен не успех начинающего проповедника, а тот трезвый и серьезный взгляд на проповедь, который у меня высказан выше. Для ректора, архим. Иоанна, совершенно достаточно было того, чтобы проповедь студента была прилична и не подвергалась укоризне в мистицизме или в другом каком-нибудь осужденном уже направлении. Издавая полное собрание моих поучений в 1902 г. и включив в него некоторые поучения, писанные еще прежде посвящения, это поучение я не признал заслуживающим издания вместе с прочими. Одобрения Высокопр. Иоанна не заслужила не эта, а другая проповедь, на 8-е ноября, и не малосодержательностью, а по другим причинам[162]. Так серьезно относиться к делу церковной проповеди научил нас тоже о. Феодор.

(*Воскресенье, 17-го вечером*). «После всенощной Софья Дм. с Анной Ив. хотела зайти к о. инспектору и просила меня справиться, дома ли он. Она пригласила и меня с собой к о. инспектору. О. инспектор был особенно в духе; прочитал между прочим речь Филарета, митроп. Моск., при посвящении Евгения[163] и потом рассказывал много интересного о Преосв. Филарете и Григории. О. инспектор угостил их чаем и продержал до 9 часов... Вчера еще поутру я слышал, что о. Вениамин получил из

Петербурга письмо, в котором его уведомляют, будто о. инспектора нашего переводят от нас в Петербург, где устрояется под влиянием Преосв. Григория какой-то цензурный комитет[164]; в число его-то членов будто бы поступит и о. инспектор, с устранением от всяких других обязанностей. Ныне Софья Дм. подтвердила, что и она тоже слышала от кого-то в городе о переводе о. инспектора. Если это правда, я *за него* порадуюсь; тут ему огорчений будет меньше, чем на всяком другом месте».

«Наконец подтвердилась опасность, столько раз угрожавшая нам лишением о. инспектора. Вчера о. инспектор сам получил о том письмо от прокурора. Впрочем, он все еще надеется, что уважат его просьбу об увольнении его совершенно на покой в Макариевскую пустынь[165], верстах в 3 от Свияжска. Ныне Софья Дм. и Нат. Ив. с детьми после всенощной сидели опять у о. инспектора и он продержал их до 9 ч., тогда как они, бедные, были не пивши чаю». Пустынь, в которую просился на покой о. Феодор, имеет очень красивый вид, когда смотреть на нее с реки, проезжая по Волге; она стоит в полугоре, сплошь покрытой от гребня горы и до уровня весеннего разлива реки густым лиственным лесом; но эта живописность пустынного жилища вовсе не обеспечивала даже самых неприхотливых потребностей, кроме одного блага — совершенной затерянности и изоляции от цивилизованного мира. В этой пустыни и братия даже почти одни чуваши.

(*1857 г. Нояб. 22–28-го*). «Помнится, я писал Вам, что о. инспектор по поводу одного разговора обратил мое внимание на то, как часто обманываемся мы в надежде при исполнении самых пламенных наших желаний, — при достижении того, к чему употребляли мы все наши усилия. Оттого-то нередко я, действительно, боюсь желать чего-нибудь определенно и особенно — действовать к исполнению своего желания, а предоставляю обстоятельствам, течению дел — и решить за меня, и даже действовать к тому или другому. Кстати — об о. Феодоре... пишу тоже ответ на одно из мест Вашего письма: действительно, ему обязан я и большею частию умственного моего развития, и взглядом на нравственность, от которого невольно уже зависит у всякого и его действительная жизнь. Сумею или нет, смогу или нет воспользоваться тем, что́ вынесу из Академии; во всяком случае, вижу, что не напрасно по моем поступлении в Академию перевели сюда о. инспектора; по крайней мере, мне давалась возможность получить много добра на всю жизнь. Жаль только, что мало еще, слишком мало понял я и усвоил из

того, чтó нужно было бы усвоить. Теперь вижу и то, что самые уроки мои Митеньке были не напрасны: они заставили меня самого подумать о многом, и многое из того, что прежде было вовсе непонятно» (очевидно — из слышанного от о. Феодора), «довести, в большей или меньшей мере, сперва до собственного моего понимания». Через 48 л<ет> после того, как это было писано, на осьмом десятке моей жизни, могу подтвердить, что печать, наложенная о. Феодором на умственную и нравственную мою жизнь, не изгладилась и ему принадлежит все доброе, что я доселе еще не успел прожить и растратить.

«Софья Дм. поручила мне просить к ним на другой день (25 нояб.) о. инспектора, и я после третьего класса отправился к нему. (На этой неделе я старшим чередным.) О. инспектор принял меня очень ласково и проговорил почти весь последний класс. У Корсаковых быть — наверно не обещался, потому что еще накануне обещался быть у Лукошковых, а сказал, что, если его задержат там, так он уже приедет к ним в середу. О. инспектора ныне, просто как какого-нибудь апостола, его казанские знакомые рвут одни у других из рук; каждый хочет видеть у себя в доме, и знакомые между собою целыми толпами приезжают туда, где, как знают, он обещался быть. Вот отчет за последние дни: в воскресенье поутру он был у Протопоповой, где его и задержали, так что он не поспел на обед к Загорским; у Загорских вечером его пригласил к себе на понедельник Лукошков, а на другой день получил приглашение Корсаковых; ныне, во вторник, он у Дубровиных, тоже по обещанию, взятому еще заранее; завтра должен быть у Корсаковых. А еще сколько таких, которым, при всем желании, не удастся с ним познакомиться; так, напр<имер>, m-le Ланн все просит Корсаковых прислать за ней, когда у них будет о. Феодор». «Вчера» (в середу) «вечер после урока провел я у Корсаковых, куда приехали Горталова и Антонина Ив., потому что ждали о. инспектора; потом, к общему неудовольствию, приехала еще одна дама, вовсе не расположенная к монахам и отличающаяся привычкой высказывать свое неблагоприятное мнение о человеке — как скоро он вышел за дверь. Наконец часов в 8 приехал о. инспектор с о. экономом» (тоже монахом). «Его задержали, как узнал я после, А-й с женой, Покровский священник, и с С. В.[166] Наталья Ив. чуть не плакала, что им помешали воспользоваться беседой о. инспектора».

«В состав цензурного комитета, устрояемого в Петербурге, кроме о. инспектора и о. Макария нашего, который будет, ка-

жется, президентом *, войдут еще Макарий, бывший здесь инспектором и сшибшийся в Твери[168], и Фотий, Смоленский ректор. Частною обязанностью этого комитета будет издание книг для чтения простого народа».

(*1857 г. Дек. 5/13-го*). «Как у нас болен Залесский! ** У него тифозная горячка, и доктор говорит, что она только еще разыгрывается. На его несчастье, о. ректор почему-то не поладил с доктором; он только уже доживает, пока придет увольнение, и на его распоряжения не обращают почти никакого внимания. О. ректор, как божество, неприступен в своем кабинете. Впрочем, завтра о. инспектор хочет просить его, по просьбе нашей и пламенному желанию самого больного, чтобы его отправили в клинику» (университетскую); «я похаживаю к нему, да он, как обыкновенно больные, любит, по-видимому, чтобы к нему приходили, и даже требует моих посещений, потому что через меня скорее может надеяться довести — что́ нужно бывает — до сведения о. инспектора. О. инспектор ныне сходил к о. ректору и — против всякого ожидания — о. ректор изъявил свое согласие отправить Залесского в клинику».

«Наконец вчера пришла бумага о назначении нам в Академию новых наставников; о. ректор просил прислать ему пять монахов; но ныне на них, верно, неурожай: прислали светских — одного из Петербургской академии ***, и другого — тоже светского, из Киевской ****, а остальные вакансии велено заместить достойными из воспитанников Казанской академии. По этому случаю меня здесь уже все поздравляют, как будто это было уже несомненно, что — после Павлова — следует *оставить*

---

* Впоследствии архиепископ Донской и Новочеркасский, известный своими трудами по описанию Нижегородской и Новгородской епархий, а в публицистике 60-х годов носивший прозвание Макара Гасильника[167]. «Нашим» он назван как бывший в Нижегородской семинарии профессором до пострижения еще в монашество.

** Залесский Петр Матвеевич, недолго служивший проф<ессором> в Тобольской семинарии, а потом — в Тобольске же, в Омске по гражд. вед. и умерший правителем дел Степного ген<ерал>-губ<ернатора> в 1883 г.

*** Василий Яковлевич Михайловский, сделавшийся известным впоследствии, в бытность свою Петербургским протоиереем, плодовитостью своих трудов по части законоучительства и преимущественно по объяснению богослужения, а также издатель различных словарей и указателей. В каталоге Тузова за 1896 г. насчитывается с его именем до 93 названий книг и брошюр.

**** Рублевский, перешел в Киевскую же академию.

меня; а я между тем побаиваюсь, чтобы не *оставили* меня Действительным студентом[169] за мое курсовое сочинение». «Вчера у Корсаковых о. Феодор рассказывал уже новость о назначении нам бакалавров, и ныне, когда Павлов пришел на урок, его уже встретили поздравлением». Заношу эти слухи и предположения, кстати сказать, далеко не оправдавшиеся[170], потому что они состоят в связи с излагаемым далее рассказом об исполнении о. инспектором поручения о. ректора поставить ему бакалавра-монаха.

«Накануне у Корсаковых был о. инспектор и просидел до 12 часов; Александр Львович уже лег спать; о. инспектор посидит, посидит и спросит: "А что́, чай уже вы в это время спали бы". — "Да", — ответит Софья Дм., а о. инспектор все-таки сидит. Они вчера сами просили его; часов в 5 Софья Дм. прислала ко мне записку, чтобы я узнал, не вздумает ли к ним о. инспектор и не прислать ли за ним лошадь. О. инспектор отвечал было, что ему нужно быть в университете и что оттуда он, может быть, заедет к ним, но проехал к ним прямо, хотя было видно, что собрался куда-то во всей форме» (т. е. в орденах).

«Я писал выше, что о. инспектор вчера задержал меня до 5 часов; это было вот как: третьего дня вечером, явившись к о. инспектору по поводу записки Софьи Дм., в то же время я просил его от имени Залесского попросить о. ректора об отправлении его в клинику; о. инспектор согласился и на другой день, т. е. вчера, после своего класса, увы! — быть может, да и несомненно даже — это был его последний класс! — в час отправился к о. ректору и пробыл у него часов до двух. После последнего класса, когда уже прозвонили в столовую, о. инспектор прислал за мной, чтобы объявить мне о согласии о. ректора на просьбу Залесского. О. инспектор сам в это время обедал или, лучше сказать, сидел за обеденным столом, потому что вовсе почти не кушал, а только говорил, думал, припоминал, рассказывал. Переговорив, что́ нужно было, — о Залесском, он сказал, что о. ректор теперь, между прочим, говорил ему о том, что никого не поступает из Казанской академии в монашество, что каждый курс получаются об этом ректором бумаги из Петербурга, где на это смотрят, как на плохую рекомендацию для Академии». Мимоходом <надо> заметить, о. ректор в этом случае был несправедлив и слишком требователен: при его предшественниках все еще время от времени появлялись монахи из среды студенчества (Преосвященный Григорий Омский и Семипалатинский, Преосвященный Варсонофий Симбирский приняли пострижение в монашество в стенах Академии), наоборот, годы

управления Академиею самого о. ректора были временем оскудения академического монашества. О. Феодор продолжал, «что о. ректор поручил ему позаботиться об этом деле и наконец» (о. инспектор) «прямо спросил: пойду ли я в монахи? Кажется, я не ошибаюсь в своем заключении, что далее о. ректор говорил именно обо мне. После о. инспектор говорил еще, что о. ректор прямо сказал, что ему нужны монахи, не просто отличающиеся только благочестием, но такие, чтобы и по способностям стояли в числе лучших; очевидно, это бакалаврские вакансии. Я отвечал (на вопрос — пойду ли я в монахи), — что *нет*. "Что, — продолжал о. инспектор, — видно, кийждо своих си, а не яже Христа Иисуса"*, и потом начал объяснять нужду Церкви, нужду нашего времени, начал объяснять, что́ значит уклоняться в ряды простых воинов при недостатке офицеров, понимающих дело, т. е. с надлежащим направлением, он говорил, что тут — искать этой степени не есть дело честолюбия, а становиться в ряды — значит, и самому невольно подчиняться общему направлению, опустошающему ныне Церковь».

О. Феодор говорит о вступлении только в офицерство армии спасения, т. е. Церкви, имея в виду ближайшее будущее студента-монаха. Но если Суворов о земном войске говорил, что плохой тот солдат, который не надеется быть генералом, то студент академии, вступающий в ряды монашествующих, не может не понимать, что он делает первый шаг по пути, который неизбежно почти должен привести его к высшим постам начальствования в Церкви воинствующей. Вот почему о. Феодор находил нужным устранить с пути, на который он звал меня, это препятствие: мое опасение, как бы не примешались и мечты честолюбия к побуждениям духовной ревности. Мне оставалось только благодарить Бога, что о. Феодор успел прочно и глубоко заложить в нас единое спасительное Основание (1 Кор. III, 11), на котором я и удержался, чтобы не сделать ложный, непоправимый шаг; а опасность сделать такой шаг была для меня большая, потому что я тогда вовсе не понимал еще, чем угрожало мне в духовной жизни то высшее служение в Церкви, для которого нужны были о. ректору ученые и даровитые монахи. Продолжаю выписку:

«Задетый за живое первым замечанием, я отвечал, что я даже и сам много раз прежде хотел поговорить с ним об этом предмете, но что теперь решительно не готов к тому. О. ин-

---

* О. Феодор перефразирует слова апостола: «Никтоже своего си да ищет, но еже ближняго кийждо» (1 Кор. X, 24).

спектор засмеялся и сказал: “Что! — видно и это — как... какой это начальник-то? — Фест, что ли, или Агриппа — сказал Апостолу-то Павлу: иди — говорит — теперь, а я тебя после выслушаю” *. И продолжал говорить о том же; он припомнил, как сам он принял монашество, как он прежде сам даже и в мыслях не имел ничего подобного», и далее в письме излагается рассказ, приведенный уже мною выше в моих воспоминаниях («Богослов. вестник», 1905 г., июль, с. 502–504 <наст. изд., с. 142–144>), рассказ о том, как о. Феодор в жребии нашел решение, определившее всю его жизнь и деятельность. По окончании этого рассказа словами свидетелей пострижения о. Феодора, что «он, знать, на́смерть постригается», я продолжал в письме своем: «Пока о. инспектор рассказывал мне это, отошла первая столовая; он предложил мне разделить с ним обед, но я сказал, что не хочу его обижать» (т. е. лишать его самого обеда) «и что застану еще обед за вторым столом. Между тем отошла и вторая столовая; о. инспектор опять предложил мне отобедать с ним и, несмотря на мой отказ, почти насильно усадил меня; сам достал мне ложку, вышел в сени и отыскал хлеб **; служителя, мешавшего своим кашлем его рассказу, он отпустил. Правду сказать, во время этих рассказов у меня вовсе не было аппетита, хотя и приходила заботливая мысль, не придется ли после мне пообедать одним черным хлебом. Повинуясь особенно убедительности последнего соображения и с тайной мыслью, что, если окажется нужда, я и после могу восполнить тощий обед о. инспектора, я решился лишить его половины ужина». (Ужин его состоял из остатков обеда.) «Но Феликс все еще говорил во мне: “Об этом я поговорю с тобой после”. Наконец, соображая и трудность возобновить в другой раз так счастливо завязавшийся разговор, и трудность высказать свои мысли относительно этого предмета, я решился не пропускать благоприятного случая и высказать — в первый раз в жизни — препятствия, удерживающие меня от принятия когда-нибудь монашества, к которому я и расположение чувствую полное, и уставы которого имею намерение соблюдать и без пострижения. О. инспектор разбирал их со мной — одни за другими — почти до 5 часов. Под конец он говорил об учениках моих, о

---

* Оказывается, не Фест и не Агриппа, а Феликс, подготовленный уже к проповеди о Христе иудеянкою, женой своей. Деян. XXIV, 25[171].

** Инспекторская квартира витой чугунной лестницею соединялась с расположенною под нею студенческою столовой и буфетом. Этот полухолодный ход в столовую я и назвал сенями.

вчерашнем посещении Корсаковых и т. п. Вечером после молитвы и ныне поутру я опять был у о. инспектора, по поводу Залесского, довольно подолгу; но он не возобновлял уже этого разговора». Этот продолжительный разговор, оставшийся, повидимому, совсем безрезультатным для исполнения желаний о. ректора, возымел великое, решающее действие для моей жизни несколько лет спустя [172].

(*1857 г. Дек. 15–25-го*). «В воскресенье, когда я пришел в 5 часов явиться к о. инспектору, он позвал меня в кабинет — помочь ему составить списки по нравственному богословию и по противораскольнической педагогике» (разрядные списки студентов по успехам их в этих предметах). «Долго и много говорил он со мной о своем академическом образовании, о влиянии на него разных наставников, что для меня было и очень интересно и много поучительно. Ах! как я благодарен и как я должен быть благодарен о. Феодору! сколько он сделал для моих понятий, для моего взгляда на все и — для самой жизни! Не раз он жаловался, и в этот раз тоже, что он всегда был *одинок*, чувствовал себя в одиноком, оставленном всеми положении; но влияние его распространяется на всех, его окружающих, не говоря уже о студентах, другие наставники в его сочинениях ловят для себя идеи — каждый к устроению, оживлению своей науки; после этого немудрено, что он одинок постоянно, он — передовой; другие все — или прямо только еще ученики, или только еще идут вслед за ним своей дорогой, не говоря о тех, которые идут прочь или против. Я пробыл у него до 8 часов. Мне же дал он и переписать списки. При составлении их он, случалось, высказывал верные замечания о характере некоторых студентов, ошибаясь не раз относительно их умственного достоинства. На другой день у нас были еще классы. О. инспектор накануне поручил мне вместо повторения по нравственному богословию написать краткий конспект и представить этот конспект ему. Когда я в понедельник, часов около 7 вечера, принес о. инспектору списки, я не вошел было к нему, увидав в прихожей салопы, я послал бумаги с Семеном; но о. инспектор вышел сам и спросил: не хотите ли чай с нами пить? здесь ваши знакомые. Я вошел и увидел Марью Вас. с мужем, а Наталья Ив. разливала чай. Я просидел с ними до 9 часов, слушая о. инспектора.

(*1858 г. Генв. 3-го д<ня>*). «Вы напрасно беспокоились и беспокоитесь относительно приступаний ко мне начальства и относительно моего решения. Действительно, в прошедшем пись-

ме я с намерением высказал только историческую, так сказать, сторону дела, не досказавши последних результатов и моих собственных мыслей об этом предмете. Я решился так сделать потому, что еще рано было принимать и высказывать какое-нибудь решение, пока не прошло первое впечатление и не возвратилось все хладнокровие, нужное для решения дела. Теперь я могу описать Вам вторую половину этой истории, перемены, происходившие внутри меня. Прежде всего опять повторю, что слова о. Феодора оказывают на меня всегда такое действие, которое благоприятствует и Вашим желаниям; они обыкновенно мирят меня с жизнью, с обществом и уничтожают понемногу мою постоянную болезнь — внутреннее раздвоение взаимно противоречивых убеждений и убеждений, взаимно противободрствующих <противоборствующих?> желаний и желаний. Так и в настоящем случае убеждения о. Феодора принять монашество имели результат, совершенно благоприятный Вашим желаниям; они более отдалили от меня эту мысль. Мысль — рано или поздно принять монашество, которая бывала у меня с раннего детства, уже никогда не оставляла меня с философского класса [173], но, с другой стороны, я смотрел на принятие монашества как на последнее средство к *само*исправлению, после долгих предварительных самоиспытаний и в случае безуспешности всех прочих средств к решительному перелому в жизни. Кроме того, и это самое главное, еще более удаляло от меня возможность принять монашество — то, что с принятием монашества я должен был готовить себя к сану священства и — даже более, как это особенно ясно определилось в последнее время, а я на это никак не хотел решиться. Не раз думал я говорить об этом с о. инспектором, но едва ли бы собрался и решился без этого решительного случая. Теперь я выставил ему мое решительное нежелание принять на себя достоинство священного сана как главную причину, препятствовавшую мне принять монашество [174]; и на это о. инспектор обратил главную силу своих убеждений. И — то, что сколько раз не удавалось и чего никогда не удалось бы сделать о. Вениамину, — о. Феодор сделал; самое главное для меня препятствие к принятию монашества было уничтожено. Но тогда-то во всей силе явился передо мной какой-то ужас при мысли о близости решительного шага, тогда как до сих пор мысль о невозможности принять монашество закрывала для меня внутреннее отвращение от мысли осудить себя, в настоящее время, при настоящем состоянии чувств и рассудка, на самоизвольное погребение на всю жизнь. Когда это открытие не замечавшейся дотоле привязанности к жизни

внезапно поразило меня, я решился обратить все свое внимание на то, чтобы исследовать, в чем кроется причина этого ужаса и отвращения при мысли о монашестве, — не скрытое ли это сожаление об удовольствиях жизни при расставании с миром, который все-таки прекрасен; или это просто чувство неожиданности, непредвиденной близости, просто следствие того, что мысль моя не успела привыкнуть к близости решительного шага. По совести, я тут же решил, что последнее вернее, но, чтобы решить это окончательно, нужен был опыт нескольких дней: нужно было на самом деле испытать, привыкнет ли мысль моя. Однако я не хотел предоставить одному собственному решению и других препятствий к принятию монашества, хотя довольно ясно сознавал и сам слабую сторону этих возражений. Я представил о. Феодору то, как мало могу *я сделать*, принявши монашество и, конечно, оставшись на первый раз при Академии, не говоря уже о том, что предстоит впереди... Искренно говорю Вам, что я сознавал и сознаю себя не способным занять кафедру в Академии [175]. И здесь, против внутренней очевидности для меня, убеждения о. инспектора не имели для меня такой убедительной силы, чтобы вполне меня успокоить. Но я сам видел, что эта боязнь происходит от *само*надеянности, оттого что я все-таки смотрю на успех в исполнении моей должности как на следствие *моих* способностей и уменья, а не как на дело Божие во мне и чрез меня. Оттого убеждения о. инспектора и не имели в настоящем случае довольно силы к моему успокоению; надобно было, чтобы исправился прежде неправильный взгляд на дело, а недостаток смирения и надежды на Бога вдруг не исправится. Я не стал предлагать о. Феодору последнего возражения, что решение, сделанное так рано, может впоследствии привести к раскаянию; ответ тот же и причина возражения та же, а наперед, конечно, я сам должен смотреть в оба, что у меня за побуждения к решению, не такие ли, которые могут после привести к раскаянию. Итак, я порешил сам с собой — сперва прислушаться к голосу собственного сердца, давши ему прежде совсем уходиться, прислушаться, отчего происходит это отвращение и ужас при мысли о монашестве, как будто бы тот ужас и отвращение, какие испытываются при мысли о близкой смерти. Но, опасаясь, чтобы меня не стал опять тревожить о. ректор и не застал меня не готовым к ответу, я и решился написать Вам всю историческую часть этого дела. Я знал, что письмо это должно будет обеспокоить Вас, но оно должно было служить отчасти и приготовлением к тому или другому решению, которое я должен был принять. Мне же хотелось, но я

опасался, что мне придется, что меня, быть может, заставят огорчить Вас на празднике вопросами подобного рода. Я надеялся было еще до праздников, после экзамена, послать второе письмо, которое бы могло уничтожить тяжелое действие письма предыдущего. В середу был у меня разговор с о. Феодором; в четверг я написал и в пятницу отправил письмо и в ту же пятницу захворал и весь день пролежал в беспамятстве. В эти дни я мало имел времени думать о предстоящем решении; а при наступлении горячки я даже употреблял все усилия изгнать на время эту мысль, чтобы добрые люди не стали мой бред комментировать; но я уже довольно успел освоиться с мыслью о возможной близости решительного шага. Только, не знаю уже, когда и по какому случаю обратил я внимание на то: а по какому, собственно, побуждению принял бы я монашество? Это для меня никогда не было закрыто — я тотчас же мог сказать, что мысль о монашестве всегда вытекает у меня не из побуждения любви к Богу или ближним, а из того ложного побуждения или направления, что каждый *спасая* да *спасает свою душу*, а другие — как знают! только бы мне с ними не сгореть (Быт. XIX, 17)! Тогда-то мне припомнилась вся недавняя превосходная лекция о. Феодора о ложном направлении любви к Богу, об этом или подобном ложном аскетизме и фанатизме. Припомнилось и то, как о. Феодор, убеждая меня к монашеству, предостерегал от опасности впасть в ложное направление, опасности, которая в этом случае особенно сильна и которая в это время, говорил он, угрожала некогда и ему самому. Тогда-то я задал себе серьезно вопрос: есть ли, в самом деле, во мне настолько любви к гибнущим от недостатка искусных вождей воинам, чтобы самому — по этому именно побуждению — искать места офицера? Другого побуждения о. Феодор не выставлял. И я должен был признаться себе, что ко мне во всей силе относится упрек о. Феодора, который так оскорбил было меня, упрек, что из нас кийждо своих си ищет, а не яже Христа Иисуса (Флп. II, 4; 1 Кор. X, 24). Так я и в монашестве всегда искал своих си. Ложное побуждение, ложное направление, примеры и следствие которого я вижу во многих. Уединение и отчуждение монашества только развивало бы во мне (при таком направлении) эгоизм, который и так почти не оставил живого места в моем сердце, и фанатизм, к которому я так предрасположен. Когда я в воскресенье являлся к о. Феодору по выходе из больницы и он долго говорил со мной о своем академическом образовании; обратясь к прежнему предмету — монашеству, он сказал только: "Как Бог устроит!" Я подтвердил: "Да, В<аше> В<ысоко-

преподобие>, как Бог устроит!" Вот Вам весь внутренний процесс моих решений относительно монашества. Теперь я говорю о своих прежних убеждениях относительно этого дела как о деле, сданном в архив, как о *покойнике*, который скрывался, пока был жив, несколько лет, а теперь не имеет больше нужды скрываться. Но если уж начал, то стану договаривать до конца. Мои *покойные* убеждения, пока они были живы, оттого так старательно были скрываемы мной, что я был уверен — они нигде не встретили бы ничего, кроме возражений; настоящие мои решения, надеюсь, найдут у Вас более благосклонный прием, потому я и не имею причины скрывать их: теперь для меня возможная вещь, что я со временем буду священником; о. инспектор умел рассеять или устремить мысль о том, как я могу принять на себя этот высокий сан! а у меня и прежде не раз бывала мысль принять на себя это *служение*; но мысль о моем недостоинстве для такого служения удерживала меня от намерения быть некогда полезным для других этим способом. Теперь же одно только разве надолго еще удержит меня в светском звании — это необходимость, для того чтобы сделаться священником, необходимость лишить себя спокойствия и независимости холостой уединенной жизни».

«Вечером ныне я слышал отзыв о. ректора, после нынешнего экзамена, что он после Павлова ставит меня и имеет нас двоих в виду для замещения бакалаврских вакансий. Ныне же узнали мы, что 4 дек. открыта семинария в Томске; эта весть произвела большое волнение между студентами, потому что вакансии предоставлены, собственно, воспитанникам Казанской академии; ректор должен быть выбран тоже из монашествующих Казанского округа. Вероятно, на это место о. ректор упечет о. Вениамина, потому что он давно желал бы куда-нибудь скатать его с рук [176], как он уже и выжил от себя о. Феодора, сделав об нем не совсем благоприятный отзыв. Правда или нет, но о. ректор говорил, что ему писал митрополит Григорий: "Мы берем от вас архимандрита Феодора на усмотрение". Очень правдоподобно, что отзыв ректора Академии архим. Иоанна об о. Феодоре был таков, будто его необходимо убрать из Академии, потому что в цензурный комитет в Петербурге, действительно, очень часто посылали архимандритов, оставленных на службе "впредь до усмотрения". Об о. Феодоре, к моему великому удовольствию, бумага еще не приходит; и, писал я 2 января, быть может, ему дадут уже доучить курс наш».

(*Генваря 17-го д<ня>. 1858 г.*). «На другой день Крещения, Вы помните — день Иоанна Крестителя, у нас службы не было,

но и ученья <так!> еще не начиналось. После нашей вечерней молитвы о. инспектор выждал, когда все мы вышли из церкви» (при о. ректоре Иоанне заведено было, что студенты и на утреннюю, и на вечернюю молитву собирались не в один из номеров, где живут студенты, а в церковь), «и, вошедши в алтарь, спросил себе облачиться, велел служителю приготовить себе кадило, ладану и начал всенощную в алтаре; церковь велел запереть снаружи, а дверь из алтаря в коридор запер изнутри и сказал, чтобы служитель не дожидался его, а пришел к нему завтра за ключом. Мы уже и спать легли, а всенощная его все еще продолжалась и окончилась в первом часу; верно, одному служить не споро».

(*Генваря 18–27-го д<ня>. 1858 г.*). «Ныне во время последнего класса нашего получена бумага о переводе о. инспектора в Петербург, а о. Вениамин делается, по тому же предписанию, на время и<сполняющим> д<олжность> инспектора, и завтра он придет уже в класс вместо о. Феодора… Увы! невесело покажется слушать после о. инспектора хоть кого бы то ни было, а тем больше о. Вениамина. Да и затянет же он нам петлю на шее во время своего инспекторства! А главное… да что́ кому за дело до главного! Так, верно, надобно!»

«Четверг — утро. А между тем, пока мы веселились, другого рода сцена разыгралась у Дубровиных. Александра Ив. получила от своего духовного отца известие из Риги, что младший брат их Аркадий, лет 18-ти, помер в Новый год. Александра Ив. и Анна Ив. были в этот день дежурными» (классными дамами в частном пансионе) «и проплакали одни, не приходя домой» (квартиру три сестры и мать имели тут же, при пансионе) «и не сказывая Христине Ив.» (матери) «и больной сестре Ольге. Вечером они убедили мать отправиться к Корсаковым» (к четвертой сестре — Наталье Ив., гувернантке у Корсаковых). «Проводив мать, во вторник принялись плакать на свободе. Калатузов» (тоже студент Академии) «был у них вечером и чуть сам не наплакался, глядя на трех плачущих сестер — Антонина» (тоже гувернантка в доме Загорских) «была тут же — и слыша постоянные истерические припадки с Ольгой. Плакали, кажется, сколько о брате, столько же и об том, как будет сказать матери: Аркадий был ее особенным любимцем. Вчера я был у Корсаковых — Христина Ив. спокойна; Наталье Ив. тоже еще не сказывают, потому что тогда сейчас же все открылось бы и Христине Ив., да и саму Нат. Ив. надобно приготовить к известию; не знают ничего, по-видимому, и Корсаковы, чтобы

это вернее укрылось от Христ. Ив.» «Я не прошел к Дубр., потому что Алекс. Ив. и Анна Ив. ныне дежурными и дома, значит, одна больная Ольга. Отправлюсь к ним ныне, тотчас же после обеда. Они просили было о. инспектора приехать к ним ныне и утешить их, но он обещался приехать в пятницу. Положено было в четверг вечером сказать Наталье Ив. о болезни брата, чтобы такой постепенностью подготовить Христину Ив., а о смерти сына решили сказать ей уже в субботу, когда у Корсаковых будет о. Феодор, который у них обещался обедать, но после передумали и решили привезти Христину Ив. домой и открыть ей правду в пятницу, когда у них будет о. инспектор, при нем».

«В субботу я и Павлов получили приглашение» (Корсаковых) «обедать и отправились после класса. О. инспектор служил в Казанском монастыре, и служба началась в половине 11-го, да притом это была родительская суббота, так что, когда мы часа в 2 пришли к Корсаковым, Софья Дм. недавно еще только возвратилась от обедни, а о. инспектор должен еще был заехать дома в два — проститься. Так как он плохо умеет распоряжаться временем, то Александр Льв. потерял всякое терпенье, и в пятом часу мы сели за стол без о. Феодора; он поспел, впрочем, ко второму блюду; обед наш кончился около половины 6-го. О. инспектор так утомился, что не в состоянии был тотчас же отправиться ко всенощной и решил отслужить для себя всенощную после — одному. Нам с Павловым должно было отправиться в Академию ко всенощной, но о. инспектор, желая, чтобы и мы провели несколько времени вместе с ним, предложил нам — отстоять с ним после его всенощную, чему, конечно, мы были очень рады. Отпустив гостей и детей ко всенощной, Софья Дм. сама осталась дома. О. Феодор думал было от них проехать еще к В. П. В<ишневско>му» (кафедр<альный> прот<оиерей> и член академич. конференции); «но и гости возвратились» (ото всенощной), «а о. Феодор так вовлечен был Павловым в разговор по поводу объяснения одного текста, что не скоро могли дозваться гостей и к чаю, который окончился в 9 часов. Часам к 10 мы возвратились с о. Феодором домой; но он по дороге зашел еще к имениннику — о. Григорию, и наша всенощная, начавшись в 9 часов, продолжилась до половины 1-го; конечно, она была без пения, служили мы в алтаре, я и Павлов читали. Точно так же накануне и за день перед тем о. инспектор тоже служил тайную всенощную».

«На другой день» (26 янв. в воскресенье) «он служил в последний раз у нас в Академии. По окончании обедни сначала

царские врата затворили, чтоб народ знал, что общественное богослужение окончено; а потом, когда в церкви остались одни знакомые о. Феодора и студенты, он вышел и отслужил молебен в путь шествующим. После обедни наставники и знакомые все прошли к нему прощаться». «Быть может, и письмо это отправится с о. Феодором, особенно если он будет иметь время исполнить свое обещание — быть у Вас в доме; мне бы очень хотелось, чтобы он побывал у Вас и благословил детей, а Вы посмотрели бы на этого маленького странного человечка. В субботу у Корсаковых я напомнил о. Феодору его обещание — быть у нас, и он обещал мне снова, даже более: когда приедет в Нижний — въехать прямо к Вам; если во время чая — к чаю; если в обеденное время — обедать; если к ночи — ночевать».

«Я было думал отправить письмо это завтра с о. Феодором, но узнал, что он масленицу проживет на дороге, в деревне своих здешних знакомых — Леонтьевых; потому тороплюсь отправить письмо вперед, вестником пред о. Феодором. Я уверен, что вы, батюшка, примете его как доброго человека, хотя бы и "с странными убеждениями", а вы, матушка, примете его, как меня. Так как я очень люблю и Вас и его, то мое живейшее желание, чтобы после этого свидания у Вас взаимно осталось, сколько возможно, доброе впечатление; дай Бог! Впрочем, если бы я знал, что должно случиться и противное — все же я желал бы, чтобы о. Феодор побывал у Вас».

(*Генв. 29-го — 3 февр. 1858 г.*). «Посылку свою зашил я с вечера и пошел дожидаться возвращения о. инспектора в его комнаты; приехал он часу в 12-м, и до часу я пробыл у него. Он спрашивал, что я хочу сказать ему, но я отвечал, что ничего не имею; просил, чтобы он мне сказал что-нибудь на прощанье, но он тоже не находил ничего. Тогда я спросил его, не осталось ли у него какого-нибудь образка, чтобы благословить меня; оставались два финифтяных образка Божией Матери, оба подаренных игуменьей [177]. Один, маленький, о. инспектор взял себе, а другой, круглый, с вершок величиною, — надел на шею мне. После того о. инспектор должен был еще заняться письмом, составить сказание о двух чудотворениях от Седмиозерныя Смоленския иконы Божия Матери для представления в Синод, вероятно по просьбе М<атери?> игумении, получившей исцеление; и он просидел за письмом до 6-го часу; в 8-м он, по обещанию, прислал за мной — укладывать его бумаги. Я тут мало мог сделать, потому что был о. Григорий, усердно отыскивавший, нет ли чего лишнего между бумагами, чем бы можно

было попользоваться. Да что греха таить, и я накануне не вовсе же бескорыстно напросился помогать при укладке бумаг; я просил, нельзя ли нам получить наши сочинения, в сочинениях наших у каждого записаны были мысли о. Феодора, то, что говорил он на эти предложения в классе; и о. инспектор сдал мне эти сочинения — с тем чтобы я прочитанные роздал, а непрочитанные сжег; я выпросил позволение — оставить последние собственно для себя. Мне же поручил о. инспектор предать сожжению и много других бумаг, а после его отъезда осмотреть все ящики, не завалилось ли где-нибудь чего-нибудь такого, что нужно истребить. Часов в 9 Леонтьев отпустил, без ведома о. инспектора, лошадей, присланных со станции, собрались провожающие, поставили закуску; в перемену о. инспектор зашел к нам в класс и перецеловался с нами; выехали из дома около часу; и так как это было между классами, то и студентам некоторым можно было выйти — проводить его. Некоторые из его знакомых отправились в Козловку» (имение Леонтьевых) «и, вероятно, долго продержат его там».

Предположения мои и оправдались: о. Феодор выехал из Академии на масленице, должно быть в среду или во вторник (29 или 28 янв. [178]), а в Нижний Новгород приехал уже на первой неделе поста, в среду (5 февр.), следовательно, масленицу провел у Леонтьевых — служил в ближайшей сельской церкви, и, я слышал, служение однажды окончилось уже в 4-м часу пополудни. О посещении о. Феодором моих родителей опять могу говорить словами того времени: приведу выдержки из письма моей матушки к моей сестре, в то время девочке лет 13 или 14-ти *, гостившей тогда у знакомых в деревне [179]. Матушка писала: «У нас был о. Феодор. Какой единственный человек! Он не похож ни на кого — сам на себя. Так прост! так смиренен! Неудивительно, что все желают его слушать и быть с ним. Он еще очень молод, низенький, маленький, волосы светлые — как у тебя, довольно долгие, как простой монашек! Я сначала ошибалась и забуду сказать: Ваше Высокопреподобие — просто: Батюшка! На первой неделе в среду — прихожу от обедни, вижу: повозка стоит у ворот; вхожу — он в гостиной и Ниночка» (младшая сестра, которой тогда было 4 года **) «ему читает

---

* Впоследствии — неизменной спутницы и деятельной сотрудницы своего мужа, Григ. Никол. Потанина, в трех географических экспедициях по Монголии, в Китае и скончавшейся в последнюю экспедицию.

** Родилась 25 янв. 1854 г.

его маленькую Псалтырь в русском переводе [180]. Он так пристально рассматривал меня, когда передавал поклон от Валериана. Детей так и не отпускал от себя; обеих [181] обнимет, да и держит; а после закуски, когда сидели опять в маленькой гостиной, Ниночку держал все на руках. Стала я подавать ему чай, он сказал: "А детям?" — я подала им в эту же комнату. Потом — другую чашку: "А что же им еще?" И закусывать — хотел было, чтобы мы все садились, но сел только папенька да монах, который с ним, да Лилов» (преподаватель Духовной семинарии), «который пришел — видеть его. И так до вечерни мы пробеседовали. Ему были поданы с почты лошади. Начали благовестить к вечерне. Он встал, начал одеваться. Ему все присоветовают, что надеть, и надевает на него его человек, который и там у него жил» (т. е. в Казани), «камердинер и повар, — и все. Он его и одевает, и усаживает, как дитя. Мы все вышли провожать его: и Капитолина Николаевна* с Александром Петровичем** и дети — все как родного проводили». И через несколько строк: «Еще новость: Натолий» (сирота — племянник моей матери, сын ее умершего брата [183]) «живет и будет жить у нас. Так советовал о. Феодор. Натолий пропадал от вторника масленицы и до пятницы первой недели». (Следовательно, о. Феодор, бывший у нас в среду, не мог его видеть, а был лишь разговор об этом «пропадающем» мальчике, лет 13-ти или 14-ти, жившем с своею мачехою.) «Его привезли в жалком виде ко мне, полубольного от холода; так он и живет у нас пока. Одеяния у него только Костина» (моего брата) «шинель да свои сапоги. Что будет — не знаю! Надобно шить сюртук и проч.».

По поводу этой выдержки из письма моей матери позволю себе сказать здесь вообще об отношении о. Феодора к детям. Он говорил как-то, что дети напоминают ему новые серебряные гривенники, которые не успели еще стереться и загрязниться от обращения между людьми. Так и они — монеты, недавно еще вышедшие из рук своего небесного Мастера; тогда как сделавшийся поговоркою «стертый пятиалтынный» есть преточное изображение человека, обезличенного жизнью и носящего на себе следы житейской грязи. В детских душах о. Феодору особенно близко и живо являлся Христос как младенец. В Казани детское общество обыкновенно окружало его в доме Любимовой или Загорской. Это были две сестры, наследовавшие

---

* Сестра моего отца, вдова сельского священника [182].

** Сын ее, ныне Преосвященный Алексий, еп. Вологодский.

богатство от своего доктора-отца; Любимова — замужняя, но бездетная, жила привязанностью к девочке, своей воспитаннице, Загорская — незамужняя, целые десятки лет, до глубокой старости, провела жизнь, почти не вставая с своего кожаного кресла у окна. Летописи казанского бомонда не сохранили в памяти современников, что за крушение духа привело к такому своеобразному отречению от мира эту молодую, здоровую, красивую, богатую наследницу отцовского имения и капитала; известен только факт: она, как однажды надела черное платье, закрутила свои роскошные черные волосы в один кок, вместо плетения кос, и уселась в кресло, так и просидела всю жизнь — созерцательницею и критиком жизни, не принимая в ней личного активного участия; она жила для своих крестьян, для своей многочисленной дворни, для своих приживальщиц, для своих пансионеров, получавших ежемесячные выдачи и по праздникам имевших — каждый и каждая — свое место за длинным обеденным столом своей патронессы. В среде этой дворни никогда не переводились и дети; они вырастали, воспитывались, обучались более или менее, выдавались замуж и давали новое поколение детей. Для одной из воспитанниц Е. В. Загорской жила даже гувернантка. И все эти благодетельствуемые становились — одни более, другие менее — предметами необходимости для благодетельницы, так что разлука с иными из них на 2, на 3 дня была для нее причиной неперестающего потока слез. Итак, в этом оригинальном монастыре всегда находились живые предметы таких же забот для отца Феодора, как и мои маленькие брат и сестра: «А что же детям? — а что же им еще?» И вот такая маленькая хозяйка-гостья, которая на вопрос: кто был за столом? важно перечисляла: «Я биля́, отеце Феодоля биля́...», так, иногда, бывало, и заснет на коленях у о. Феодора, приклонившись головкой к груди его. *Оставите детей приходити ко Мне* (Лк. XVIII, 16).

А между тем как о. Феодор за стаканом остывшего чая, с ребенком на коленях или на диване подле него, сидит в гостиной за чтением Писания, другой какой книги или за беседой, а все собравшиеся слушают, в людской о. Феодор тоже служит предметом живейшего внимания и утешения всей дворни: там его Семен, долговязый Андрей или другой какой-нибудь из «советователей» и попечителей о. Феодора представляет его в его келейной жизни с подражанием всем приемам его и повествуя в драматической форме. Очень круто приходилось иногда бедному о. Феодору от этих попечителей о нем и об его имуществе; случалось, между ним и попечителем происходили такие раз-

говоры: «Андрей! дай мне чаю». — «Чай весь вышел». Пауза. «Ну, поставь самовар да подай мне хоть просто кипятку с сахаром». — «Сахару тоже нет». Пауза еще более продолжительная. «Ну, дай кипятку мне без сахару». Это значило, что месяц подходил уже к концу: запасы, при содействии попечителей, истощались, а денег — и без соучастия попечителя — так давно уже не было, что и память о них сохранилась разве у той бедной вдовы, которая поусердствовала — принесла сдобных горячих булочек собственного печенья и получила на свою бедность 10 руб. Попечители-Андреи властной рукой распоряжались не только в чае и сахаре, но давали направление и вещественным пожертвованиям, которые через их руки приносимы были о. Феодору: «Ну куда ему этакое добро!» — говорил келейник, надевая сам черные шелковые перчатки, подарок почитателя, переданный через келейника. Что за монах ехал с о. Феодором — не знаю и не помню. Дополню письмо моей матушки к сестре некоторыми вариантами рассказа о том же из письма ее ко мне и отзывом об о. Феодоре из письма отца моего, для которого проезд о. Феодора и часы, проведенные им у нас, были первым и единственным случаем проверить личными впечатлениями то, что он знал из моих писем. Матушка писала: «Сильная вьюга задержала о. Феодора в дороге. Иду от обедни — вижу, у ворот стоит огромнейшая повозка: не прошла в ворота...» (а дом наш стоял во дворе) «Что это за человек о. Феодор! можно ли его не полюбить? Если бы чаще беседовать с ним, какая бы была польза душевная! какое смирение и любовь в нем...» «Говорил о монашестве и о тебе. Говорил и со мной, особенно еще о тебе. Если не убедил, то много успокоил; так что я, кажется, спокойно встречу и перенесу, если нужно будет, если бы случилось, твое решение. Однако кончили тем: "Как Бог устроит!" Сказал, как его мать скоро и спокойно благословила и отдала его Божией Матери...» «После, когда Лилов ушел, сидели в маленькой гостиной: я вкоротке рассказала ему об Анатолии и просила его советов. Что бы ты думал, сказал о. Феодор? "Возьмите его к себе", и далее... как обыкновенно, ты знаешь, он говорит. После моих рассказов он говорит: "Значит, он воришка и лакомка! жаль, жаль! как бы хорошо, если бы вы взяли его!" — и при этом много раз поминал, что "надобно — как своих детей содержать, так и его; ведь уж он привык лакомиться, так надобно"; потом, усмехнувшись, глядя на Костю и Леона, сказал: "А вам будет это неприятно?" и при этом рассказал один пример, матери его друга и товарища, умершего уже во Владимире[184], как она делила всех наравне с своими деть-

ми...» «О. Феодор, говоривши об Анатолии, сказал еще: "Вот Валериан В., может быть, его к себе возьмет, да — нет! нет! тут нужно вот материнское-то... да, да!" Отец писал не в повествовательной или драматической форме, и пусть его слова послужат окончанием этой части моих воспоминаний об о. Феодоре в период казанской его жизни и переходом к воспоминаниям из периода жизни о. Феодора в Петербурге и Переславле. Он писал:

«Скажу еще несколько слов об о. Феодоре. Он с высоким стремлением, как видно, и с обширным взглядом на мир! Но как же ограничен, как тесен круг, в котором должна обращаться его деятельность. Как мало потому он успеет принести пользы человечеству. Другое дело, если бы он, при этом своем стремлении идти и других вести к духовному совершенству, был деятелем в сане белого священника! * Теперь, по собственному его сознанию, он за великое дело считает, когда удается ему возвести к Отцу (его выражение) отца или поставить на этом же поприще другого подобного себе деятеля, каким он признает тебя, не в обиду сказать твоей скромности. Из других выражений о. Феодора нельзя было не заметить, что, при всем его уме, ему недостает опытного знания света и условий общего быта! Жалко этого. Давно бы ему надобно было выйти из-под спуда, чтобы и самому людей посмотреть, и себя показать людям. Петербургское общество, полагать надо, наполнит пробелы его мыслящей души. Если что утешительно в о. Феодоре, так это — благость, неизъяснимо приятная младенческая простота. Да укрепит его Господь в этой — редко встречаемой ныне в иноках добродетели! Вот впечатление, произведенное на меня твоим добрым другом и отцем!» [185]

Предвидение моего отца оправдалось. Занятия в цензурном комитете дали другое направление деятельности о. Феодора: из пустынного аввы подневольных послушников академического монастыря он поневоле сделался публицистом. Цензорство должно было привести его в непосредственные отношения и с издателями, что, вероятно, облегчило для него дело издания его произведений. Но главное было в том, что соприкосновение с современной светской литературой ** властительно потребова-

---

* Слова отца имели в этом месте, быть может, не совсем безотносительное значение; имелся в виду я.

** От Добролюбова я сам слышал, как горячо принимал о. Феодор к сердцу дело русской мысли и жизни, когда ему как цензору светской литературы и публицистики в статьях, подлежащих духовной цензуре, приходилось быть судией этой мысли в годы освободительного движения [186].

ло от него говорить «О православии в отношении к современности» и «О современных духовных потребностях мысли и жизни, особенно русской».

Кончая эту часть воспоминаний об о. Феодоре, позволю себе заметить, что письма мои, касающиеся его собственно, кроме этого биографического значения, представляют и довольно цельную картину вообще академической жизни того времени. Но картина эта была бы несравненно полнее и живее, если бы я не был ограничен в своих выписках специальным предметом настоящей монографии. Для истории академической жизни в конце 50-х годов в письмах моих остается много еще не использованного материала.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ ПРОТ. В. В. ЛАВРСКОГО

В. В. Лаврский Ал. И. Дубровиной,
28–29 июня 1859 г., Самара:

...Вы, конечно, хорошо помните слова о. Феодора, что надобно исповедоваться только при священнике или в слухе священника, но не священнику, а Богу, перед Богом.

В. В. Лаврский Ал. И. Дубровиной,
28 июля — 6 августа 1859 г., Самара:

...О. Феодор говорил обыкновенно, что, терпя несчастие, мы не должны думать, что этим удовлетворяем правосудию Божию за грехи наши и т<аким> о<бразом> своими скорбями искупаем свои прежние вины; И<исус> Христос вполне уплатил уже Своими страданиями за все и Ваши грехи; потому когда Он на Вас возлагает крест, то Он хочет сделать Вас участницей Своих страданий, а не наказывать Вас ими.

В. В. Лаврский Ал. И. Дубровиной,
17 декабря 1859 г., Самара:

В прошедший понедельник отправил я письмо к о. Феодору. У него, как я слышал от одного его родств<енника> (приехавшего сюда на свящ<енническое> место), и в Петербурге не бывает недостатка в желающих слушать его; когда ни придешь к нему, говорил М. С.[1], всегда у него кто-нибудь есть.

Ал. И. Дубровина В. В. Лаврскому,
26 декабря 1859 г., Казань:

...на меня напала такая тоска, что я отчаявалась, я последовала примеру о. Феодо<ра>, легла и переносила самые ужасные страдания, мне ка-

жется, что я ходила по мытарствам <...> и мне казалось, что это кризис <в> моих страданьях...

В. В. Лаврский Ал. И. Дубровиной, 3–7 апреля 1860 г., Самара:

В февральской книжке «Странника» предпоследняя статья, неподписанная, тоже должна принадлежать о. Феодору[2].

В. В. Лаврский Ал. И. Дубровиной, 6–11 августа 1860 г., Нижний Новгород:

...поверьте о. Феодору, к<ото>рый говаривал, что телесные и душевные болезни состоят в самой тесной связи между собою, что внешнее и вещественное везде и во всем служит выражением внутреннего, духовного.

Ал. И. Дубровина В. В. Лаврскому, 25 декабря 1860 г., Казань:

К о. Феодору я писала 24 дек<абря>; особенный, неожиданный случай заставил меня ранче писать, чем я хотела; наш добрый Павел Николаевич Кожевников умер 22 дек<абря> в тифозной горячке, я спешила уведомить о. Феодора, так как они очень любили друг друга. Не хоронят его, ждут брата, который по торговым делам уехал в Москву <...> Он оставил старушку-мать, хорошо, что был холостой, ему, говорят, только 30 лет.

Ал. И. Дубровина В. В. Лаврскому, 14 февраля 1861 г., Казань:

Благодарю вас за письмо С. Н.[3] и о. Феодора[4] <...> Бедный наш о. Феодор, сколько он страдает, как он мне в этой записке напоминает Гоголя, совершенно так и тот страдал за свои сочинения.

В. В. Лаврский Ал. И. Дубровиной, 4–14 февраля 1861 г., Нижний Новгород:

От о. Феодора я недавно получил письмо в ответ на мое письмо и постараюсь послать его к вам; из него вы столько же узнаете об о. Феодоре, сколько и я сам знаю. Он жалуется на печатные нападения своих же братьев духовных, нападения, в которых его творения обвиняются в неправославии и выставляются вредными для нравственности[5]. В «Сыне Отеч<ества>» (№ 2, 1861 г.) читал я ответную статью о. Феодора на одну из таких брошюрок[6]. А я так хочу обратиться к нему для поверки своих мыслей — согласны ли они с чистою верою — и приготовляю послать ему с О. И. <Дубровиной> несколько вопросов о разных предметах.

В. В. Лаврский Ал. И. Дубровиной, 4 марта 1861 г., Нижний Новгород:

Вы уже чрез Лебедевича[7] знаете, конечно, что о. Феодора нашего сослали в Никитский Переславский м<о>н<ас>т<ы>рь в число братии.

Ал. И. Дубровина В. В. Лаврскому,
11–15 марта 1861 г., Казань:

Говорят, что нашего о. Феодора велено держать очень строго в монастыре, как иеретика, никто не смеет быть у него, слышали ли вы о этом? только он и в силах перенести такое гонение за Христа, несчастный, но вместе и счастливый о. Феодор.

В. В. Лаврский Ал. И. Дубровиной,
30 марта 1861 г., Нижний Новгород:

Как жаль, ах, как жаль! если О. И. не успела передать о. Феодору мое письмо и тетрадь; теперь, если она и вздумает переслать к нему мою рукопись по почте, ему не отдадут ее, когда его держат как еретика, а тем более не позволят ему отвечать на мои вопросы... [8]

Ал. И. Дубровина В. В. Лаврскому,
4 апреля 1861 г., Казань:

Я теперь и не знаю, что с о. Феодором: иные говорят, что все ложь, что он получил только выговор, другие говорят, что он настоятелем едет туда в монастырь, а по «Страннику» видно, что все еще о. Феодор цензор, о. Иннокентий обещал мне написать к нему и узнать о нем, хоть где он и где будет...

О. И. Дубровина Ал. И. Дубровиной,
начало апреля 1861 г., Санкт-Петербург:

...вчера я получила ответ от тети [9]; она была в квартире о. Ф<еодора>, застала там арх<имандрита> Макария, которы<й> ей сказал, что о. Ф<еодора> уже несколько месяцев нет в Пет<ербурге>, что он уехал для своего здоровья, и дал адрес ей к нему, вот он: Владимирской губернии, в городе Переславль-Залесский, отцу арх<имандриту> Феодору, в Никитском Переславском монастыре.

В. В. Лаврский Ал. И. Дубровиной,
23 апреля — 1 мая 1861 г., Нижний Новгород:

...терпит заточение за свободное проповедание слова истины о. Феодор. <...>

На Пасхе получил я письмо от бывшего самарского ректора, сосланного в монастырь и потом опять сделанного ректором Тамбовской семинарии [10]; он передает слух, будто общество для воспомоществования недостаточным писателям назначило о. Феодору ежегодно 800 р<ублей> сер<ебром> [11].

Ал. И. Дубровина В. В. Лаврскому,
1–3 июня 1861 г., Казань:

Благодарю тебя, Валериан Викторович, за письмо о. Феодора... [12] Грустно было это читать: «Я и сам буду туда [13] писать, но признаюсь вам, что редко удается мне касаться этих обстоятельств спокойно, а я ведь теперь *на покое*». Гог<о>левская горькая ирония, и сквозь слез<ы> я посмеялась.

В. В. Лаврский Ал. И. Дубровиной,
8–11 июня 1861 г., Нижний Новгород:

Я так слова о. Феодора: а ведь я теперь *на покое*, понимаю не как иронию; ты ведь знаешь, что он о том и старается, чтобы поправить нашу современную болезнь: у нас и самое дело превратилось в одну бестолковую пустозвонную фразу, форму; он старается всякую форму даже исполнить в настоящем духе, восстановить и выполнить на деле потерявшийся от частого бессмысленного употребления смысл фразы; так и в этом выражении *на покое*, употребляемом о монахах, отказавшихся от всех должностей, он видит не простую общепринятую бессмысленную фразу, а обращает внимание на смысл ее и видит в ней требование — душевного покоя; потому-то он и подчеркнул это слово; подобным же образом он подчеркнул слово *по отчеству*, где спрашивает, как зовут по отчеству Морошкина [14].

В. В. Лаврский Ал. И. Дубровиной,
16–21 июня 1861 г., Нижний Новгород:

Если бы ты знала, как я тебе благодарен за твой драгоценный подарок! Ах! — о. Феодор... он сидит как живой; мало того, что в чертах лица сходство безукоризненное, но его поза, а главное — выражение этого лица; фотографии здесь, что с ней так редко случается, удалось уловить в выражении глаз его душу — настроение, в котором он был, когда снимали портрет, и которое мне в нем так знакомо; это одна из минут его созерцательно-страждущего состояния, когда он обыкновенно так долго и упорно молчит; кажется, глядя на портрет, так и ждешь, что он сейчас тяжело-тяжело вздохнет.

Ал. И. Дубровина В. В. Лаврскому,
27 августа 1861 г., Казань:

И я благодарю за письмо о о. Феодоре [15]. Бедный наш о. Феодор, он, верно, под началом живет там.

В. В. Лаврский Ал. И. Дубровиной,
21 ноября 1861 г., Нижний Новгород:

Напрасно ты просила о. Феодора скорее отвечать тебе; он не может принадлежать никому в частности, и нельзя ожидать от него аккуратных ответов, правильности в переписке, как от других; частным нуждам и желаниям он может удовлетворять только в том случае, если ничто не отзывает его на пользу общую.